

Джума Ахуба

Кто бросит камень...

Роман

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая, быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой.
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

А. Твардовский

— Прости нас, создатель! По твоей милости будто в сказке живем, — вздохнул мой дед и, разогнув спину, оперся о рукоять мотыги, сунув ее под мышку. Потом стащил с головы войлочную шапку и устремил молитвенный взор в сторону гор.

Даже в разгаре июля, когда у собаки вянет язык от жары, на вершинах лежат вечные снега. Не за краем земли, вон они, горы! Дед подержал на ладони никлый кукурузный лист.

— Посмотри-ка, свернулся, поседел, как моя борода. А в чем он провинился? — и безнадежно махнул рукой: не услышит господь, — Возмущаемся, если человек оплошает. А что человек — сама природа несовершенна!

Я знал дедушкин нрав. Работаешь, из сил выбиваешься, думаешь: хоть бы ему пить захотелось, послал бы за водой к роднику, а принести ведро — это не мотыгой орудовать... Или прохожий окликнул бы его. Пока наговорится — мне передышка. Отставит мотыгу и заведет свои мудреные речи. А молчит — и ты не смей слова вымолвить! «Пусть ворона его склюет! Не может держать язык за зубами», — ворчит он. Спросишь, о ком это. Ответит: «Слава богу, ты его не застал». Надо так понимать: за работой и едой добрые люди не болтают.

Я не прислушивался, что он там бурчит. Как хотелось искупаться!..

Дед поковырял мотыгой сухую землю.

— Ты слышал, что я сказал?

— Слышал, дед, слышал. Как несовершенен человек, так несовершенна и природа. А наверно, хорошо сейчас на море...

— Вижу, забыл, как мотыгу держать. А что она — что перышко, которым пишешь на бумаге. Никакой разницы. Никакой! Пойдем-ка в тень, жаль тебя, совсем от жары сомлел.

Мы дотащились до двора и уселись под грабом. С улицы послышался треск мотоцикла.

— Опять прикатил! — нахмурился дед. — Обязательно чего-нибудь выпросит. Ярмо, плуг дай ему... А то и быков. Пусть на мотоцикле пашет! Фигу он получит! Ты слышал когда-

нибудь, чтоб хоть шкворень сосед у соседа просил? — ворчал дед, но было видно, что отдаст все, чего ни попросят. Журил он больше тех, кого любил.

«Я не от сердца, — внушал он, — это язык бранится, как вы понять не можете, шалопаи!»

Мотоцикл притормозил у ворот, и пыль, гнавшаяся по пятам словно ястреб за цыпленком, накрыла его вместе с седоком.

Отряхиваясь, во двор вошел парень лет тридцати. Он был местный, но я давно не видел его и не сразу узнал.

Поздоровались.

— И тебя заставил взяться за мотыгу? — усмехнувшись, спросил он.

Дед покачал головой и язвительно заметил:

— Он ее не займы взял.

— «Не займы!» Нарты погибли, когда стали делиться... На собраниях что говоришь? Мол, революцию совершали для всеобщего равенства. Ничего твоего-моего — все общее!

Дед еще пуще нахмурился, а под усами — улыбка.

— Чтоб тебя гром сразил! — напустился он на парня. — Откуда тебе знать, что я говорил? Может, наоборот, против колхоза агитировал, чтоб каждый сам по себе! Тебя в ту пору и на свете не было.

— Люди говорят. Или переменял свое мнение? Зря на меня кричишь. Ведь все равно дашь. Попрошу — и дашь! Я не об одном себе думал, когда шел сюда. И о тебе. Чтоб тебе было лучше! — И, посмотрев на меня, подмигнул.

— Чем это мне лучше? Дашь ярмо — сломал. Дашь борону — половины зубьев недосчитаешься. Это для меня лучше?

— Ну смотри, как говорит! Да если я ни пахать, ни бороновать не буду — кому же придется меня содержать? Тебе, соседка! Пойдем дальше! Куда ты денешься со своей кукурузой? Курим и свиньям раздашь? Нет, на мельницу, ко мне повезешь!

Наш сосед был зрителем при мельнице, что возле сельсовета. О нем говорили: «Смотрит за мельницей, у него ключ». Мельником никто не называл, потому что работал на лесопилке, а на мельнице бывал, когда захочет. Рядом с мельницей стоял сарай, там, в углу, он приспособил дисковую пилу. Принесешь бревно — пожалуйста, распилит.

— Жмотничать никакого тебе резону, дорогой мой сосед. А даже наоборот! Выгодней дать да еще уговорить, чтоб я пахал и сеял.

— Подними-ка глаза, кто там сидит наверху? — Дед показал пальцем на небо, сам же и не взглянул. — Знаешь, что он сказал? Один такой, вроде тебя, свалился в реку. «Помоги, господи, тону!» Всевышний, конечно, все видит и слышит. «Я дал тебе руки?» — спрашивает. «Дал», — отвечает тонущий. «Ноги дал?» — «Дал, дал!» — «Вот и шевели ими!» — вразумил господь и отвернулся. Моя лошадь упирается, когда к тебе веду. У

плуга лемех отваливается. А я, когда слышу твой мотоцикл, говорю: пусть и пашет на нем.

Дед был вовсе не скуп и уважал соседа, но еще больше уважал в человеке самостоятельность.

После того как они мирно обговорили, когда соседу прийти за быками и плугом, а деду привезти бревна к мельнице, чтобы распилить на доски и покрыть потолок в акуаске, парень обратился ко мне.

— В прошлую субботу я был в Апсаре, — сказал он. — Там один человек тобой интересовался.

— А ты знаешь, что в этой Апсаре случилось? — спросил дед. — Правда, года три прошло с тех пор... Не дай бог такого ни нам, ни им! — Дед вздохнул и задумался.

— Что было, то было! — ответил парень. — Я в этот раз не за плохим ездил.

На что такое они намекали, я не понял. Учился в Москве, домой приезжал на лето, и то не каждый год. Откуда мне было знать, что произошло в Апсаре? Дед не рассказывал. А сейчас, повздыхав, сказал как бы в заключение, будто мне все известно и мы только что обсудили давнишние те отбытия, все разобрали и взвесили:

— Вы, дадраа [1], счастливые, ни войны, ни горя не видели, слава богу. Я вот и читать не научился, но так думаю скудным своим умом... Наши предки установили правила жизни, отделили добро от зла, честь от бесчестия. И это нас сберегало. Может, теперь что и лишнее, даже вредное... Я согласен. Но не все плохо, дошедшее из старины. Многие нужно сохранить. Почему так случилось в Апсаре? Потому что перестали разбираться в том, что есть честь, а что позор. Жил тут один человек, Гуджуа Гач, земля ему пухом. Так вот этот Гуджуа, когда при нем вспоминали об аламысе [2], уши затыкал. «А-а, да умру я раньше тебя, оставь ради всего святого, слышать не могу этого слова! Аламыс нас и сгубил, оттого и народ у нас темный». Знаете, что я про аламыс думаю? Он вроде волка.

— Ого! — удивился сосед.

— Да-да, волк и есть! Думаете, тот режет всех без разбора? Зарежет любую скотину и сожрет? Нет, сперва догони! Он как делает? Выжидает. Животные почуют опасность и бегут в страхе. А кто быстрее, скажем, олень или волк? Никогда волк не догонит, никогда! Тогда как же? А как сам упадет. Тот зверю и достанется, у кого печенька слабее. Здоровые выживают и продолжают свой род в чистоте. Поняли, к чему я веду? Аламыс вроде волка. Отделяет слабых и которые неустойчивые... По этой причине и случилось в Апсаре происшествие, спаси нас господь!

— Спорить не буду, — согласился сосед. — Да вот в чем беда, волк загрызет больного, а и здоровые, убегая, срываются со скал, — и посмотрел на деда со значением: я, мол, твои слова не оставил без внимания, теперь и ты подумай над моими. Помолчав, он обратился ко мне: — Так вот, когда я был в Апсаре, один подходит и спрашивает, знаю ли я такого-то. Тебя. Отвечаю, сам не читал, но, говорят, в газете критиковал председателя и тот чуть его не избил. Еле ноги унес... Ладно, шутки шутками. Сказал, что хорошо знаю — соседи. Подожди, как же его зовут... Вроде Алиасом. Да, верно: Алиас. А фамилию забыл. Очень тобой интересовался. Стало быть, имей в виду этого Алиаса.

Так я впервые услышал об Алиасе Куланбе, которому принадлежат эти записи... Предлагая их читателю, замечу попутно, что нашел в них много и печального, и поучительного. Но, кажется, несколько забегаю вперед.

Примерно неделю спустя, утром, когда я с перекинутым через плечо полотенцем выходил из дому, собираясь на море, к воротам подъехал всадник. Лошадь под ним была взмылена, в пыли. В то время дороги из горных сел никуда не годились, машины добирались с трудом.

Человек соскочил с седла и, улыбаясь, пошел навстречу. Признаться, не без удивления, но с любопытством я разглядывал его. Худощавое загорелое лицо. Длинный с горбинкой нос. Молод — в волосах, выбившихся из-под широкополой шляпы, ни единой сединки. На нем была белая сорочка с короткими рукавами и расклешенные брюки — для всадника довольно смешной наряд. Но вот глаза... Улыбались приветливо, куда мы обменивались рукопожатием, а в глубине темная горечь. Странные глаза. Молодой парень — откуда эта печаль? Я пригласил в дом. Он отказался. Хотя вряд ли не располагал временем для того, чтобы перекусить и дать отдохнуть коню. Наверно, все заранее обдумал и решил не задерживаться.

К седлу была привязана кожаная сумка. Я такие видел у наших бригадиров: на длинном ремешке и складывается, как гармошка.

Положив на нее руку, торжественно, словно мы на свадьбе и он преподносит в дар быка, парень сказал:

— Это тебе. Отдаю. Как поступить — твоя воля. А мне уже не нужно... Все, что можно было потерять в жизни, я потерял, все, что можно было получить, — получил.

Он сделал паузу. А я, помня его горькую усмешечку, подумал: к чему он так высокопарно? Конечно, и в молодости случается пережить немало дурного. Точно так же как и мудрость вовсе не привилегия возраста.

— О себе говорить не буду. Цель жизни, стремления... В жизни все перепутано. Сам господь бог не разберется, что хорошо, что плохо, — махнул рукой... — Здесь, в сумке, тетради, — продолжал он. — Где карандашом писал, где чернилами. Есть и о тебе. Если резко — извини. Читал я одну твою книжку... Не знаешь, что делать со своим талантом, куда идти. Болееешь за всю Абхазию, а неужели оставит равнодушным то, что по соседству творится? А потом подумал: большинство ансарцев не знает, как было в действительности. Сначала пытался только разобраться в том, что произошло у меня с невестой. А потом стал глубже искать, затянуло... И такое открылось, что лучше б не знать! Извини, если наставительно говорю с тобой, я немного постарше. Может быть, тетради тебе пригодятся. Скажи, как относиться к человеку, которому доверил тайну? Ведь он словно ограбил тебя... Мне не нужны эти тетради. Возьми себе. Я не изменил ни одного имени. Хранить дома рискованно. Попадут кому-нибудь в руки — могут наделать беды. Говорят, пролитая кровь не высыхает. А ты поступай как знаешь. Хочешь, оставь и ее имя.

Он передал мне тетради и, не попрощавшись, уехал.

Все мне не понравилось в этом человеке. Особенно нравоучительный тон. И пережитое не дает права... При беглом чтении записки не показались интересными. Ну о чем, собственно, речь? О том, что все мы хорошо знаем. Видели или слышали. Защищая

семейную честь, некий молодой человек застрелил односельчанина. За кон наказал убийцу. Что касается вопросов чести в понимании апсарцев... Можно ли всерьез о них говорить? Допотопные представления! А любовь? Самопожертвование, страсти? Времена Ромео и Вертера миновали.

Теперь же, перечитывая тетради, я иначе думаю об авторе записок. Да и о самих записках.

Подобно тому как свет звезды добирается до нас спустя годы и годы, так и слова моего деда об аламысе не сразу дошли до сознания. Но они многое приоткрыли, многое предстало в новом виде.

Письма Алиаса... Пожалуй, это исповедь.

Я ничего не изменил, сохранил стиль, выражения. Не стал и на главы делить. Пусть будет, как есть.

* * *

Адица...

Вывел на бумаге твое имя и долго разглядывал, удивляясь, словно птенцу, только что вылупившемуся из яйца. О чем я только не думал тогда! Потом зачеркнул несколько раз. Так что ни одной букочки невозможно различить. Не потому что хочу навсегда забыть твое имя: я не знаю, с чего начать. Живет в нашем поселке человек по прозвищу Черный Ворон. Личность известная... Может, с того и начать, как мы встретились? Встретились, словно гонимые ветром, древесный лист с побережья и лист с горного склона...

Но тебе будет трудно понять. Лучше начну с нашей последней встречи. Или с того, как мы танцевали с тобой на свадьбе у Чокнутого... Но ты скажешь, возможно, что я бессердечен, если в моей памяти о тебе остался твой смех, а не слезы.

Ладно, начну с сегодняшнего дня. Обычный будний день. Воеет циркульная пила, полосуящая на доски огромные буковые стволы... Ругань бригадира, что-то неразборчиво выкрикивает, выставив обе руки, снабженец Фриц (это я его так прозвал, настоящее имя потом скажу). Его голос раздается в цеху, как в пустой бочке. Верно, оправдывается. «Полетели» зубья пилы, то ли на гвоздь напоролась, то ли на пулю в древесном стволе... Фриц стоял под электрической лампочкой, щеки и подбородок влажно лоснились. Он страшно потел — ив жару, и в холод. Я захлопнул дверь будки, где сидел мой Дамш. Чтобы пес не накинута на Фрица.

А бригадир все орал:

— Сколько раз говорил: не рубить в тех местах! Нет такого дерева, чтоб без осколка от бомбы... Посмотри, что с пилой! — Он задышался от злобы. Чтобы дать план, готовы оголить всю Абхазию, рубить направо и налево — куда только топор достанет.

Снабженец Фриц, поставив ногу на бревно и поглаживая живот, снисходительно улыбается: мол, кричи сколько влезет, все равно от меня зависишь.

Я сижу перед входом в цех за сколоченным из досок квадратным столом. Утром выпил немного, но хмель уже развеялся. Некоторые говорят, что выпивка разжигает душевные

раны. А я после первого стакана забываю о всякой тоске, будто и солнышко ярче светит.

Доносится шум моря. Не переставая дует пронизывающий ветер. Осень. Чем больше распилим, тем меньше останется лесов. А чем их меньше, тем свободней ветрам.

Итак, начало ноября. Всего два месяца, Адица, и из нашей жизни уйдет еще год. А к нашим годам прибавится новый... Ладно, не буду об этом. Но как же не напомнить тебе, не упрекнуть: если сейчас шестьдесят пятый, то, стало быть, ровно двенадцать месяцев, как я покинул Апсару. Ну, пошути, сделай серьезное лицо и пошути: «Почтим сей прискорбный факт минутой молчания!»

Есть такое абхазское выражение — о человеке, заблудившемся в лесу, говорят: вывихнул себе плечо, потому и кружит вблизи одного и того же места. Надеюсь, тебе понятно, что хочю сказать? Может, понятно и Мери? Надо ее спросить.

Год, как я ушел из Апсары. И пять лет нашей разлуке. Я тебе причиняю боль, напоминая о Том Дне? Но Тот День, То Утро, То Воскресенье... Как я их помню! Да, было воскресенье, утро солнечное, без единой тучки на небе.

В то раннее утро, ты послала ко мне нашу соседскую девочку. Где ты нашла ее? Явилась к ним в дом и попросила?... Теперь-то знаю, почему сама не пришла. А тогда очень удивился. Что это — гордость, небрежность? — подумал я. Если б зашла, как всегда, отворила калитку... Если бы! Наша собака бросилась бы к тебе с радостным лаем. Что такого, что раннее утро! «Забыла, что задали в школе, не записала». А можно ничего и не выдумывать. Когда это мой отец или мать спрашивали, зачем ты пришла? Отец, улыбаясь, поцеловал бы тебя в лоб, а мать пригласила в дом, ласково прикасаясь к твоим плечам.

Но ты осталась за воротами. Стояла, прислонившись спиной к забору. Словно не хотела видеть моих стариков. Это было оскорбительно, я не мог уразуметь: что это значит? Сверхскромность или сверхсамолюбие: посту паю так, как хочу! Я разозлился. Удивление и гнев... И не сразу вышел к тебе. Даже решил не разговаривать, когда в понедельник увидимся в школе. Но, оказывается, сам черт смеялся надо мной!

Кто споткнулся утром, до вечера спотыкается. Один грех порождает другой. Когда в понедельник узнал о твоём внезапном решении, я понял (а как иначе мог бы тогда это расценить?), что твое нежелание встретиться с моими родителями и войти в дом было вовсе не из застенчивости или чрезмерного самолюбия — ты заранее знала, что поступишь со мной, как поступила, и тебе было попросту стыдно.

Ты прислала соседскую девочку, чтобы тайком вызвала меня за ворота, где ты ждала. Я был тебе очень нужен...

Помнишь, как я растерялся? Я всегда считал себя простаком, и наверное, мое лицо сделалось тогда совершенно глупым. Стоит и моргает, недотеха. А ты говоришь... и до меня не доходят слова. Словно бычка ударили обухом в лоб. Я оглох... Прости, неловко выразился. И все-таки думал, что испытываешь или шутишь. Когда ты заплакала, я даже не попытался успокоить.

— Алиас, мы должны расстаться... Другого выхода нет.

— До завтра?

Нет, совсем.

Ты что, — удивился я, — в космос собралась, как Гагарин? Может, плохой сон приснился? Но когда тебе снится плохое, мне, наоборот, хорошее. Будто мыс тобой уже старые-старые, ковыляем еле-еле по отцовскому двору... Внук принес стакан воды, мы заспорили из-за этого стакана, и тут я проснулся.

А ведь не сон! Так я подумал, проснувшись. Представил себе, что мы с тобой муж и жена, состарились... Ты бы высмеяла. Я и свалил на сон.

И знаешь, никакой горечи не испытал, когда ты сказала: расстанемся. Уезжает твоя мать? Понятно. И ты вместе с ней. Но нет, тут же подумалось мне, ведь ты заодно с теми, кто настроен враждебно к этой женщине. Как же тогда уедешь? Это невозможно!

А помнишь, Адица, нашу единственную ночь?

Говорят, есть птица, которая поет один раз в жизни Зато какая песня!

Вот и мы спели свою песню...

Наверно, я отдам это письмо Мери, нашей общей подруге, «нянечке нашей любви», как ты ее называла. А она передаст тебе. Как прочтешь — брось в огонь. Много злого, тяжелого в письме, пусть сгорит, в дым превратится. А память сохранит хорошее... Память не сотрешь, не сожжешь в огне. Разве что время потрудится...

Старый пастух Гудиса рассказал мне одну сказку.

Будто бы лишь сутки в году мы принадлежим сатане, остальные же дни и ночи нами правит создатель. Пусть так. Но для меня все наоборот. В тот год словно дьявол вселился в меня, а одна ночь, один день... сам господь мне протянул тогда руку! Дал силы, чтобы выжить.

Я не верил тебе. Глупец, где были мои глаза? Видел твои слезы, видел, но как легкодумно, как самонадеянно решил, что причина не во мне и тебе. Подумал: «Это из-за матери, она всему виной!» И не стал утешать. Что за привычка у апсарцев соболезнавать по любому поводу! Сочувствием беречь свежую рану...

В понедельник, едва вошел в класс, окружили, стали расспрашивать, что произошло, почему так внезапно порвали. Никто не верил, что ты ни с того ни с сего взяла и вышла за Маджгану.

— Чем ты ее обидел?

— Алиас, и ты не потребуешь объяснений? Если виноват — извинись перед ней.

Одна из девушек сказала безнадежно:

Нот на свете любви...

— Всех оскорбила!

— Ты знал, что она собирается за Маджгану?

Удивишься, но я ответил, что знал. И давно!

— Ну артисты! — пораженно воскликнул кто-то. — Разыгрывали? А мы-то верили...

— Может, просто поссорились?

— Если б поссорились, мы были бы в курсе. А то гляжу, после уроков идут себе преспокойно вместе домой. Она к себе в поселок, а он провожает. В субботу!

Я еще ему крикнул: эй, Алиас, ты не спутал дорогу?

А я вам точно скажу Адицу увели. Слушай, почему скрываешь? Тебя оскорбили, а ты терпишь! Один не можешь позови пас на помощь.

— Да никто ее насильно не уводил, сама пошла, — беспечно отмахнулся я. — И хватит об этом. Хотите убедиться, сами у нее спросите.

Тут вошел учитель, и меня оставили в покое.

Почти весь урок я просидел в оцепенении, глядя в окно на цветущие сливы и алычу. Было солнечно, голубые тени бродили по земле. Потом стало расплываться перед глазами, вспыхнули и распались какие-то сверкающие паутинки...

— Алиас, что ты там увидел в окне? — раздался голос учителя.

Весь класс повернулся в мою сторону. Я молчал, смаргивая слезы.

— Что с тобой?

Михаил Алексеевич — он преподавал историю — смущенно покашлял и поправил пустой рукав, заправленный за пояс гимнастерки.

Я открыл парту, чтобы взять портфель. На крышке было вырезано твое имя... Когда проходил мимо Мери, она сунула мне скомканный носовой платок.

— Извините, — пробормотал я и плотно притворил за собой дверь.

Если б знал тогда хоть четверть того, что знаю сейчас, я бы сообразил, куда идти и что делать!

...Пришлось на несколько дней прервать письмо. Если скажу, что для меня большой праздник таким вот способом общаться с тобой, то не верь. А когда в самом деле пришел праздник, ей-богу, не без удовольствия отложил перо, предался веселью и, кажется, вовсе забыл о тебе. Ничего не поделаешь, Адица, жизнь есть жизнь.

Подвели итоги квартала, и всем отвалили премии в размере месячного оклада. За перевыполнение плана. Больше положенного вырубил и распилил. Словно плана не хватало... А кого это волнует? Только мой отец горько пожал плечами, греетесь, подпалив собственный дом, сказал он.

Нет, не умеем мы ценить добрых людей! Это я о себе и о Дамше. Ненавидим Фрица, глаза бы его не видели, гада. А если б не он, то и премия улыбнулась. Теперь лишняя копейка завелась, могу распорядиться ею по своему усмотрению. Договорились с хозяйкой, у которой снимаю угол: все, что попало в мой карман сверх зарплаты, — это, извините, мое. При общем котле и постели... Живем под одной крышей, а женщина она молодая...

С ребятами из цеха пошли в столовку обмыть премию. Нас было трое. Посидели ничего себе, я уж собирался рассчитаться за стол, когда появился Фриц. Улыбается, гад, спрячьте свои рубли, говорит, я расплачусь. Ребята подмигивают мне, дескать, пусть, у него денег куры не клюют. Я, само собой, в амбицию. Не потому что такой щедрый, если откровенно. Но Фриц как увидел, кто держит стол, тут же спрятал свои денежки. Вот и спрашивается: кому хуже, ему, этому Фрицу, или мне?

Чтоб мой дурацкий язык шилом проткнули, надо ж было сболтнуть: Фриц! Его теперь все так называют. Меж собой, конечно, за глаза. И он знает, от кого пошло.

Дамш и моя хозяйка ничего не имеют против, когда я с приятелями выпью стакан-другой и «по земле начинает кататься яичко» [3]. Дамш рад, что я в хорошем настроении: стало быть, пристегну поводок к ошейнику и выведу гулять. Буду смотреть на горы, в сторону нашего села. Постепенно мною снова овладеет тоска... А Дамш, облюбовав какой-нибудь куст, поднимет заднюю лапу... я отпущу его, он будет носиться по двору, влаивать — у него свои радости. Женщина, у которой я пристроился, тоже довольна, когда малость подвыпью: обоим начинает казаться, что у нас настоящая любовь.

Прости, Адица, за эти подробности. Где я остановился?..

Понедельник, последний школьный урок... Я вышел из класса, сжимая в кулаке платочек, который мне сунула Мери. Учитель окликнул из окна, когда я брел по двору. Я даже не оглянулся.

Между мной и тобой, Адица, пролегло черное воскресенье. А в субботу, помню, ты весело выпорхнула из школьных ворот — чтоб больше не возвращаться. Тебе было очень весело.

Вот и я вышел за ворота, слезы застилали глаза... Напротив, через пыльную площадь, наш сельмаг, возле которого убили человека. Ужас, я смотрел на крыльцо магазина, на то, как пылит ветер, смотрел пустыми глазами, будто ничего здесь и не произошло!

С тех пор все эти долгие пять лет... Но сначала о том, что заставило меня взяться за письмо. Прежде и в мыслях не было напомнить о себе. Все, что узнал, — это, так сказать, для личного пользования. Посвящать тебя... что это даст, зачем? Не то что ей писать, думал, встречу случайно — сделаю вид, что не заметил. Отомщу, причинив боль, иного она не заслуживает. С меня довольно. Все, кончено! Поставил точку. Даже если узнаю истинную причину твоего отступничества — не перемену решения.

И вот тем не менее пишу... Что-то, значит, изменилось. Не только во мне самом после того, как окунулся в жизнь и стал кое-что понимать. Захотелось, чтоб и ты знала, что узнал я. А тут еще Мери... Как-то встретились, я сказал в шутку:

— Мери, Мери, нянечка любви моей!

— Нянечка, не сумевшая воспитать ребенка. Печально так ответила...

Отец говорит: зверей, деревья, трапы, жуков, человека породила одна природа-мать. Зверю хорошо, когда сыт. Дереву когда его корни в доброй земле, оно радо влаге и солнцу. Человеку же — всего мало! Всегда чего-то недостает. И жить он не может без какой-нибудь малой малости... Я смотрел на Мери и вспоминал эти отцовские откровения. Ах, Мери, юная Мери, ты вся такая прозрачная, покажи мне свои ушки, сквозь них разгляжу дальние страны... Мери, Америка, Мери... Бог знает, чего еще я наговорил ей!

Ты ее, наверно, давно не видела...

Мы с Дамшем вошли в местный магазин. Я знаком со всеми девочками-продащицами из книжного отдела. Люблю детективы, и они мне оставляют. Поэтому, как Ромео, объятый любовью, всегда ношу с собой либо шоколадку, либо припасую букетик цветов. Поверишь ли, одариваю с удовольствием, даже если ничего не оставят. Ни в одну из них я не влюблен, хотя все они славные девочки. А просто так. Приятно дарить женщине цветы. Видишь, какое качество я в себе обнаружил!

На этот раз достался Жорж Сименон. А было обрадовался: вдруг Конан Дойл? Разворачиваю бумагу: нет, опять Сименон... Он меня с ума сведет. Ругаю, но прочитываю от корки до корки.

Выхожу на крыльцо с Сименоном — подъезжает «Победа» цвета жухлого дубового листа, за рулем парень лет тридцати. Оказалось, муж нашей Мери. Тут же нас и познакомила.

Я сразу определил по шуму, что не все ладно в моторе. И сказал об этом.

— Так исправь! — попросила Мери.

Я покачал головой: поклялся, никогда не сяду за руль и вообще близко к машине не подойду.

Почему — этого не сказал.

Смотрел на Мери и удивлялся. Щечки розовые, глаза блестят, прямо-таки светятся. Брови взлет... И вот о чем подумал. О плодородии. Есть благодатные почвы. И есть женщины, которым богом дано рожать и быть матерями. С каждым новорожденным они становятся краше. Мне показалось, что Мери даже ростом стала повыше. Где ее девичья сутуловатость? Стройна, невозмутима, и сколько женской стати! Известно, счастье каждый по-своему понимает. А у Мери, по-моему, все ее счастье в плодородном чреве, да заткнет уши дьявол при этих словах! Тьфу, чтоб не сглазить!

Она обняла меня за плечи и отвела в сторону.

— Слушай, где ты пропадал, мы тебя совсем потеряли. — И словно судья, заглянула прямо в глаза. Меня аж жаром обдало. В первое мгновение я не о тебе вспомнил, Адица, не о тебе. Об Алхасе я подумал — уж не знает ли Мери, что у нас с ним стряслось? И отлегло от сердца: совсем о другом она спрашивала. Будто бы ты мной интересовалась, где я и что со мной...

— Да убери ты его! Что такое, как пенсионер, ходишь с собакой!

— Он не тронет! Дамш, подойди познакомься с дамой! — Я потянул за поводок. — Так, хорошо. Умница, Дамш! И я так думаю.

— Господи, этот несчастный разговаривает с собакой, как с человеком! Неужели больше не с кем?

— Единственный, кто не солжет и не предаст. Хорошо, Дамш, отлично.

— Что хорошо?

— Опустил голову, повилял хвостом. Это что означает?

— Ей-богу, ты сошел с ума!

— Допустим. Но это еще не все. Я могу и человека убить.

— Ну дает! А сам курицу не зарежет.

— А знаешь, что мне сказал Дамш? Верь этому человеку, он добрый.

— Сто лет не виделись, а он о своей собаке! Что с тобой случилось?

— Ничего примечательного, дорогая Мери. Все самое обычное. Жил-был некий паренек-дурачок, взял и бросил школу. Сам себя наказал. Когда в последний раз открыл крышку парты, увидел вырезанное имя и заплакал... А можно посмеяться. Посидел дома сиднем и ушел в горы с пастухами. В горах отстал сатана от его души... Потом — армия. По возвращении работал в колхозе. Надоело — сбежал. Тоже ничего необычного. А сейчас вот гуляет с собакой... Дамш, она тебе понравилась, что ты разлегся у ее ног? Ты заметила, Мери, как обеднела наша Апсара с моим уходом?

— Перестань болтать! Ты же знаешь, как мы все относимся к тебе. Я тебя искала. Еле-еле нашла. — Она смотрела на меня пристально и осуждающе. — Ты сдался! И подняла обе руки. — Сдался, отошел в сторонку, спрятался.

В тебе говорит женская солидарность. Женщины всегда заодно. Лучше взгляни, что выдывает Дамш. Поглаживает хвостом твои стройные ноги... Вообще можешь мне говорить все что угодно. Считаешь, я недостойн твоей подруги? Пусть будет так.

— То, что я знаю об Адице, тебе и во сне не приснится. Нет, удивляюсь твоей слепоте...

— Мери, скажу только одно: перед твоей подругой моя совесть чиста. Она нечиста в другом. Но это вас с Адицей не касается.

— Он наивный слепец! Слушай, когда ты родился? В каком столетии?

— На следующий год по возвращении отца с фронта Что доказывает, что я действительно его сын. В тысяча девятьсот сорок третьем.

— Скорее, во времена нашествия Наполеона. Да так там и остался! Ах, не уважили его любовь, не поняли утонченных чувств... А нынче, чтоб ты знал, в особой цене лишь здравый смысл.

— Ну да?

Зла на тебя не хватает! А любила как родного брата.

Мери-Мерика-Америка... Ты становишься все красивее; чем тебя кормит муж? Я вовсе на нее не обиделся. Кто желает тебе добра, имеет право на резкость. Она уверена, что во всем права. И не надо ее переубеждать. Апсарские старики говорят: невинного не склюет Черный Ворон.

— Что было, то было, — сказал, — и кончим на этом. Что нового в Апсаре? Никто не помер? Больше никого не убивали?

— Кое-кто из стариков, а так... Тебя уже не было в селе, когда Алхас вместе с машиной сорвался?..

Вот оно как припирают к стенке! Неожиданный вопрос — и преступник теряется, он в ловушке, конец Я наклонился к Дамшу и погладил его. Чуть было не вырвалось: «Если б не беда с Алхасом, я бы никуда не уехал!»

— Ладно, Мери, всего. Иди, муж заждался.

— Я хотела тебе сказать...

— Когда спросили сатану, почему он стал сатаной, он ответил, что осатанел, узнав больше самого господа бога. Если б и ты знала, что я знаю, тоже бежала б из этой Апсары.

— Я не такая, как ты.

— Это все, Мери?

— Нет.

— Так скажи.

— Напиши Адице.

— Вот уж чего не ожидал! Всегда ставила на первое место здравый смысл, а говорила о душевной чистоте. Выходит, не один я изменился. И всего лишь за пять лет! Ну, а через десять вообще друг друга не узнаем! Советуешь черкнуть письмецо замужней женщине?..

— Именно. Вспомни наш последний разговор. С Адицей ты так не разговаривал.

— Ты ищешь правду, я ищу правду. Все мы чего-нибудь ищем. А старуха с косой ищет нас! — пошутил я.

— Чего я ищу, ты позже поймешь. Напиши ей обо всем. Плохо, когда люди не понимают друг друга. Даже те, кто разошлись, если поговорят по душам...

— Эх, Мери, Мери, да разве бы они разошлись, если, как ты говоришь, по душам?.. Стали бы сталкивать друг друга с кручи, вместо того чтобы отбросить ружья?

Мери пошла к машине, и Дамш увязался следом повиливая хвостом.

Я окликнул:

— Скажи, а ты счастлива?

Приостановилась. Вновь подошла ко мне. Походка и взгляд ответили на мой вопрос. Но я хотел услышать.

— Да! — И, понизив голос, сказала:— Счастлива. Только не думай, что он свалился с неба прямо ко мне за пазуху.

Она испытующе смотрела, нахмурясь: понимаю ли я?

И я кивнул.

— Значит, напрасно говорят, что счастье притупляет рассудок.

— Спасибо. Еще раз напоминаю о просьбе. Иначе дружбе нашей конец. Напишешь — передай ей или мне Договорились? А не знаешь, в этом магазине есть детские коляски?

Я пожал плечами.

— Мне она вряд ли будет нужна. Но я рад за тебя Мери, хоть ты счастлива.

Будешь и ты, если поумнеешь.

Из магазина она вернулась ни с чем.

В вашем заводском поселке что, детей не рожают? Продавщица говорит, колясок в глаза не видела.

Открыла дворцу машины и, садясь, взъерошила волосы мужу:

— Ты не ревнуешь? Болтаю с чужим мужчиной... — Высунулась, подмигнула мне: выше голову! — Теперь знаю, где тебя искать. Скажи и Мирону. Не забывай о моем наказе. Пока!

И слабо махнул рукой.

Стоял с Дамшем возле крыльца и думал, что счастье печь дефицитная, на всех никогда не хватит. Слава богу, хоть верим, что оно существует. Мери, Мери... Злые завидуют, а добряки неудачники отогревают душу у чужого костерка. Мери... Когда мы все состаримся, она останется такой же молодой и беспечной. Развалится крепость — скажет: ну и хорошо, еще лучше построят. Бывало, школьному обидчику: я тебя уважала, да вижу, недостойн... И внезапная мысль пришла в голову. Может, она и Адицу упрашивала мне написать? А цель? Чего добивается?

Впрочем, и я ни к чему, в общем-то, не стремился, когда стал распутывать узелок за узелком... Правду искал? Она тоже — правду, ничего, кроме правды. Только писать Адице бессмысленно. Да и подло — замужней-то женщине. Мало мне моих старых грехов!

По дороге домой, держа под мышкой завернутую в газету книгу, я вспомнил об одной из наших с тобой встреч. Непонятно, почему именно эту — на похоронах твоей матери... Извини, Мсыгуды. Я стоял в стороне. Поняв мое состояние, ты, Адица, сама подошла. У

тебя горе, думал я, зачем еще прибавлять — собой? В душе человека не разберется и создатель, куда уж мне, бедному! Когда размышляю о себе, такое зло берет, так бывает противно, что только... посмеяться. Тебе это знакомо? Лучшее лекарство от всех горестей — посмеяться над самим собой. Какая-то нелепая, запутанная жизнь... Знаешь, я ненавижу твоего мужа Маджгану, как может овца ненавидеть волка или солома огонь, вижу его с тобой — и еле сдерживаюсь, чтоб не броситься, не сбить с ног, в землю не затоптать! А тогда, на похоронах твоей матери (опять вырвалось невольно — матери), похоронах Мсыгуды, его не было, и я с наслаждением и яростью твердил себе: вот кого она выбрала, бессовестного, ничтожного человека. Скажи, чего бы я больше хотел: видеть его рядом с тобой или чтоб сгинул он? Не пришел оплакать ту, что родила тебя, видимо, посчитав покойную недостойной слез. Можно подумать, сам безгрешен как младенец!

А кто он, как не убийца? Убить, затоптать любовь в человеке... Прости, Адица. Я не должен так говорить о твоём муже. На похоронах ты подошла ко мне, поблагодарила за то, что явился один из всего села.

Ждала от меня каких-то слов... Нет, Адица, в твоей благодарности я для себя ничего не искал. И не поверишь, если скажу, что хотелось увидеть в тебе: ложь! Все обман — и заплаканное лицо, и горе... Все напоказ! Я не посочувствовал. А ты продолжала:

— Кто-то прислал такси... Наверно, сосед этой несчастной, дай ему бог здоровья. Я никого здесь не знаю. Расспроси, кто он. Потратился, надо вернуть ему деньги. Покойная оставила и на похороны, и на поминки...

Пообещав, я попросил сохранить для меня некоторые фотографии, которые были у Мсыгуды.

— В её комнате, справа от двери, стоит сундучок. Там письма, бумаги. И фотографии.

— Хорошо, Алиас, если они тебе зачем-то нужны.

И отошла.

А откуда мне известно о письмах и фотографиях? Ты подумала об этом? И другое. Как умерла мать, кто был возле неё, какими были её последние слова? Ты знаешь?

Как-то отец рассказал мне нечто, похожее на притчу... послушай. Идет путник по дороге, пыль, зной нестерпимый. И ест персик, срезая ножиком кожуру. Съел, а косточку бросил... Он, этот путник, — прохожий. Больше здесь никогда не ступит его нога. Съел персик и подержал на ладони морщинистую влажную косточку. Подумать бы ему: бросил в пыль — затопчут. Леня закопать, так хоть в придорожную канаву швырни. Может, и примется... Прохожий не застанет молодого деревца. Но пройдет по дороге его сын, может, и сорвал бы сочный плод.

Отец часто повторял эту притчу. И при тебе, Адица. Только ты не поняла и забыла. А я не забыл, как отец поглядывал на тебя... Просто так рассказал, между прочим. Послушать бы эту сказочку твоему Маджгане, он бы сообразил что к чему.

И еще скажу.

Зачем верующий исповедуется? На что надеется? Участь его решена. Прошел свой путь до конца... Он исповедуется, чтобы о его опыте задумались те, кто останется жить.

Если ты когда-нибудь, проходя мимо моего дома, завернешь узнать, жив ли он, твой бывший... Кто — бывший? Друг? Любовник? Бывший знакомый...

Нет, лучше так. С пригорка возле Апсары видно море. А в ясную погоду и корабли. Черный дым, который тянется вдаль, — это из трубы нашей лесопилки. Давай вот что сделаем. В день твоего рождения, в условленный час, я дам гудок в твою честь. Как я это сделаю — моя забота. Ты услышишь... Но это, так сказать, лирика. Ведь вы с Маджганой будете строиться. Милости просим! Достанете материал — хорошо, нет — поговорю с нашим снабженцем, привезут лес, напилим и для вас. Знаю, с кем поладить, кому в лапу сунуть. А вернется из заключения твой брат Бадз — ему тоже свой угол понадобится... Хотя вряд ли, отца он не сможет оставить одного.

Бадз...

Вспомнил о нем, и все встало перед глазами, словно вчера случилось...

Еще и месяца не прошло со дня полета Гагарина. Пышно цвели плодовые деревья, и, будто радуясь силе, шумя на всю Апсару и пенясь, спешил к морю Чагир. «Из земной зеленой колыбели человек поднялся в облака!» — на переменах важно читал свои стихи наш поэт-одноклассник... Старики, сроду не державшие газеты в руках, ходили с гордо вскинутыми головами. Иные покручивали усы:

— А что он говорит, который побывал на небе? Не встречал там господ бога?

Когда на площади прозвучал выстрел, прошла половина урока истории, мы повскакивали из-за парт и бросились на улицу. Михаил Алексеевич всех вернул и, пока не унесли убитого и не разошлась толпа, не выпускал из класса.

— Человек впервые полетел в космос, а мы, апсарцы, так и остались дикарями, — с болью в голосе сказал он.

Это наша последняя весна... Что станет с родником, если его взбаламутит поток? Пройдет не один день, прежде чем грязь осядет. Выстрел точно грязью обдал наши души.

Если помнишь, это было во вторник. Не только день и какой был урок, помню даже, о чем думал в то время. Ты замечала, когда принимаются рассказывать о каком-либо значительном событии, хорошем или плохом, то начинают обычно с того, что предшествовало ему: что делал, о чем думал, какая была погода. Потому что жизнь как бы надвое разделилась. На «до» и «после».

О чем я думал?..

Мы с тобой идем по городскому парку, гуляем. Я качу перед собой детскую коляску. Ты и я вполне самостоятельные взрослые люди. Нет, уже пожилые! Переглядываемся с улыбкой, радуясь внуку... Когда в тот день я сквозь слезы смотрел в классное окно, в белой цветущей алыче мне виделась ты в подвенечной фате.

Ты сидела за второй партой. А я на самой последней, ведь был на год старше вас всех. В восьмом классе целый год проболел, и ты догнала. Да, я сидел на последней парте, и это к лучшему: когда открыл крышку, никто не увидел твоего имени, вырезанного перочинным ножом.

И вдруг — выстрел! Меня подкинуло, точно выстрел ударил возле самого уха. Выстрелили всего один раз. И наступила тишина. И в этой тишине пронзительно заголосила женщина, словно убили ее отца или сына... Я и сейчас не знаю, кто она. Больше всего нас напугал ее крик. Мы повалили на улицу, учитель поначалу не смог нас остановить. А потом он сказал, что мы — дикари, апсарцы.

Все, до единого. Ты в класс не вернулась, поэтому не слышала.

Тебе назвали имена убитого и убийцы или сама догадалась?

— Уходи, тебе нечего здесь делать! — крикнул мне отец. Откуда он появился? И почему в бурке и башлыке? Я хотел спросить... и вдруг поразило: как он спокоен! словно ничего не случилось. Ничего — ровным счетом!

Вынесли из магазина какую-то белую ткань и как простыней накрыли лежавшего в луже крови. Кто-то запротестовал:

— Что вы делаете? Может, он еще жив...

— Убили! Убили! — причитали вокруг.

— Бадз стрелял. Бадз, сын Арсаны!

Голосившая женщина куда-то пропала. Ты-то, верно, сразу поняла, кто это, ведь она явно побежала оповещать родственников, чтобы взяли за оружие. Но мы помним, никто не пытался мстить. Ты умно поступила, не вернувшись в класс. Самой в голову пришло, подсказали? Уж не мой ли отец? Он знает, как поступать в подобных случаях: все должны быть там, где им надлежит по законам родства. Безусловно, отец принял вашу сторону. Пусть не думал о наших с тобой отношениях, но тебе известно, какая дружба связывала его с твоим отцом.

И тут я вспомнил, как за несколько дней до этого видел у него пистолет. Отец был очень недоволен, что оружие нечаянно попало мне на глаза. «Подарок человека, которого нет в живых», — объявил он и спрятал подальше. Я был поражен: отец, который ни разу не выстрелил ни в зверя, ни в птицу, над которым посмеивались, дескать, всю войну, наверно, поваром прослужил, хранит у себя как ни в чем не бывало... Правда, когда им овладевает гнев, взгляд становится едким, острым... Даже в тостах отмечают, что перед разъяренным кабаном устоит. Но чтобы и в будни не расставаться с оружием, носить с собой просто так? «Для чести или позора живет человек на земле!» — любит он повторять. И том смысле, что честь превыше всего. И вот сейчас, при виде смертельно раненного человека, так спокоен, даже не попытался помочь...

Какой-то мужчина подошел к нему и спросил, что делать.

Отец поправил башлык и спрятал руки под буркой: ничего, мол, не нужно. Лишь выдавил неохотно:

— Послали за машиной.

Отец был невозмутим. Как тот крестьянин, которому к полю еще идти и идти, и он говорит себе: заверну-ка в рощу, срублю дубок на ярмо.

Я чувствовал, что случившееся касается тебя, Адица, но когда услышал имя твоего брата, имя твоего отца, растерялся. Искать тебя, защитить, утешить?..

— А в кого он стрелял? — спрашивали.

— В кого же он мог выстрелить? Будто с луны свалились.

«Бадз убил, это Бадз!» — вертелось у меня в голове, и я совсем забыл про пистолет, который видел у отца.

Нас стали загонять в школу, слышались голоса из толпы:

— Все этого ждали!

— Какой парень из-за него пропадет!

— Чего не бывает из-за женщины...

— Вот и нужно было ее, а не Арутана, она во всем виновата!

Какой-то старик стоял в стороне, опираясь на посох.

— Правильно поступал с нами Черный Ворон... — бормотал он. — Посмотрел бы сейчас, как палим друг в друга! Если нет страха, ничто не остановит.

Учитель нас подгонял, мы оборачивались. Рядом с собой я увидел Мери. В испуганных глазах стояли слезы... Потом чей-то голос прокричал из толпы:

— Бросьте его! Пристрелили как собаку... Как собаку и закопают!

Я ничего не понимал! Откуда такая злость, такое пренебрежение? Мог ли я знать, что случившееся в тот день — нечто более значительное, чем просто убийство?.. Хотя ты скажешь: что может быть значительнее человеческой смерти? А мне ясно теперь: есть вещи пострашней...

Вскоре на площадь на колхозном грузовике приехал Мирон. Ты, конечно, знаешь его, сейчас он работает трактористом. Мне он как старший брат. Мирон только-только вернулся из армии и ходил в форме. Помню, учитель сказал: ну хоть этот парень поможет пострадавшему!

В те годы между мной и Мироном разница в годах казалась огромной. Потом и я отслужил, вернулся в село, стал шоферить, и эта разница как-то стусhevалась, словно он так и остался в прежнем возрасте, а я сразу повзрослел на несколько лет.

Вспомнил о Мироне — и тоска охватила... Говорю себе: кроме отца и матери, в Апсаре он единственный человек, по ком болит душа. Ты, Адица, — совсем другое, о тебе буду помнить всегда, всю жизнь. Школьные товарищи, соседи? Никого уже не осталось... Одни в армии, на сверхсрочной, другие уехали учиться, третьи подались в город. И удивительно — ни разу не написал Мирону. В голову не приходило! О чем писать? Жив, здоров, работаю — и все? Это он и так, наверное, знает...

Какой толк разглядывать корни высохшего дерева? Стали они отмирать — следом и ветки посохли... Разглядывай не разглядывай, все равно не оживить. Ты когда-нибудь видела человека, сознавшего в собственной глупости? Если перед самим собой, то куда ни шло. А публично? Будешь выглядеть вдвойне дураком. Спросишь, к чему клоню? Я промолчал бы, если бы ты и твои близкие не были причастны к содеянному мной. (Прости за высокий «штиль».) Написать Мирону о своих грехах? Тогда о чем же? О Шерлоке Холмсе и комиссаре Мегрэ?..

Или просто о том, как живу? По вечерам, привязав Дамша к крыльцу или оставив у соседа Петровича, хожу иногда в кино, играю в нарды во дворе, слушаю разговоры пенсионеров. Когда выдаются свободные дни, езжу в Сухуми... Живя в Апсаре, кричал: надоели эти бесконечные свадьбы, похороны — будто для того и существуем, чтобы выдавать замуж и хоронить. А здесь вроде бы все убежденные холостяки и никто не собирается помирать. Не помню, когда был на чьей-либо свадьбе или похоронах. В Апсаре некуда было деться от них каждые субботу и воскресенье! Почти вся зарплата уходила на подарки молодоженам или родственникам усопшего. Принес, отдал, взяли, и на том конец. Утешайся, что, у самого когда-нибудь будут сын или дочь...

В самом деле, о чем писать Мирону?

Жизнь моя похожа на тихую послушную жену. С первого взгляда. Была бы еще приятнее, если б не Дамш, моя черная собака, чтоб ее Алышкинтыр [4] забрал! Позже я расскажу, что она натворила.

Вот вкратце и вся моя жизнь, Адица. Забытого тобой... будем считать — друга. По утрам, спустя полчаса после заводского гудка, этот человек выходит из трехэтажного дома, слева и чуть впереди идет женщина. С работы ли, па работу, в руке объемистая кошелка. Так к ней привыкла, что без кошелки и не представишь. С такой же легкостью несет набитую доверху, как и пустую. Против своего спутника немного полновата, но это вовсе не значит, что толста.

Вместе идут минут десять, молча. Можно подумать, обижены друг на друга. А просто им уже нечего друг другу сказать, все уже сказано между ними, иссяк предмет разговора, как кукуруза в закроме нерадивого хозяина.

Дойдя до развилки, она сворачивает к детскому саду, где работает.

— Надумаешь пообедать дома — еда в холодильнике.

— А не лучше ли пообедать прямо у тебя на работе, зачем каждый раз таскать полные сумки? — И смеюсь собственной шутке.

— Хоть сегодня приди вовремя, имей совесть, — напоминает она, отойдя на порядочное расстояние. Голос едва слышен, но я знаю, что ее заботит.

Непонятное воодушевление охватывает, я кричу вслед:

— Слушай, а смогу ли я отказаться, если предложат выпить за совесть?

Точно уже принял рюмку-другую...

Дай тому бог, кто свел меня с этой женщиной. Когда приехал из Апсары, месяца не

проходило, чтоб не поменял квартиру. Закидывал на плечо свой рюкзачок и шел с Дамшем, как говорится, куда глаза глядят. А сколько объявлений развесил на столбах! «Молодой мужчина с щенком снимут комнату». Но одних не устраивал я сам, другие отказывали из-за Дамша. Покуда не встретился с ней... Однажды и она сказала в сердцах: «Тот, кого не впустили в дом, тащил за собой еще и собаку». Не подозревал, что это меня так заденет! Смолчал. Потому что правда, то правда. Все из-за Дамша. Эта псина доброго ко мне отношения не ценит. Вот уж полгода, как его кормят и поят, отвели местечко за перегородкой на светлой веранде — и все впустую! Не знаю, что он, зверюга, нашел плохого в хозяйке?

Ладно, а как живется тебе, Адица?

Солгу, сказав, будто тоскую по Апсару и раскаиваюсь, что уехал. Вообще-то, когда отсюда, с берега моря, смотрю в сторону гор, у подножия которых лежит наше село, порою сердце щемит — подобно тому как у ветерана в дурную погоду ноют старые раны. Омоешь затосковавшую душу стаканом вина и чувствуешь, как воспаляется боль, словно глотнул жгучего перца. А уж если совсем немоготу — еду на субботу и воскресенье, поручив Дамша пенсионеру Петровичу, который живет на первом этаже.

И однажды, по приезде в Апсару, одно обстоятельство заставило меня глубоко задуматься. Помнишь толстовского «Хаджи-Мурата»? Там во вступлении автор рассказывает о репейнике — растоптали, вдавили в землю, а не погиб, не поддался, выжил, такая в нем оказалась сила... Будешь смеяться, но и у меня вышло, как с тем репейником.

Поело армии я некоторое время работал шофером. Мигом перевели механиком в гараж.

Как-то отец сказал:

— Алиас, дад, приведи-ка своего дружка тракторном Мирона, хочу кое о чем его попросить, в долгу не останусь.

— Уж не пахать ли собрался? — я удивился. — До весны далеко — зачем тебе трактор?

— А вон видишь ольху, на которой лоза? В конце пашни?

— Рядом с дикой грушей?

— Ольха разрослась, слава богу. И лоза — хорошо. Не будь ольхи, ей бы не подняться. До шести корзин винограда снимаю. Можно и больше, да груша мешает, лоза уже к ней тянется. Каждую весну перекалываю, чтоб груша листвой не застила. В тени виноград не созревает, кислый... Срезал ветки — гуще растут. А срубить опасно, соседние яблони переломает. Так вот, если трактором зацепить... Ольха с лозой дух переведут!

Я подумал, подумал и решил, что отец прав. Пользы от груши действительно никакой, плоды мелкие, горькие.

Мирон долго себя просить не заставил — и по дружбе, да и обязан был многим. Сколько раз с его трактором возился! Знал, что не откажет.

Обмотали дерево тросом и вырвали с корнем. Ольха, верно, точно вздохнула на свету.

Отец радовался:

— Хай, дай вам обоим бог здоровья! Осенью надавлю нам вина. Отдохнет мое деревце, отдохнет, родимое! — И Миرونу: — Да будет земля пухом твоему отцу. Когда он погиб в горах, я был среди тех, кто искал... На плечах вынесли тело, а потом связали носилки из жердей, спускали... Три дня мыкались... Отец твой жил для людей, и ты пошел по его стопам, бог тебе воздаст!

Я был благодарен отцу за такие слова. Знал: это общее мнение. Отец в совете старейшин, и не только ничего не решает без согласия совета — тоста за человека не поднимет, если недостоин.

А поначалу испугался, когда он вспомнил Апту: ненароком раздует огонь, который мы с приятелями Мирона старались потушить. Ты знаешь, о чем говорю. Ведь рядом с отцом Мирона похоронили Арутана, которого застрелил твой братец. Сказав «да будет ему земля пухом», отец мог, как это делал обычно, прибавить, что, мол, у нас все возможно: рядом с прахом достойного зарывают и кровосмесителей... Честно скажу, и мне не понравилось, что так поступили. Но похоронили и похоронили, ничего теперь не поделаешь. И если бы Мирон выкопал останки Арутана, родственники покойного сочли бы это за надругательство, пролилась бы кровь.

Я не стал дожидаться, когда отец свернет на опасную тропку, и перевел разговор:

— А смотрите, какие корни у груши! Что там листва — у разных пород и корни разные. У этой вот желтые, как ящерицы! Ветки не смогли ужиться, а корни как переплелись. Что тебе девичья коса!

— Может, напрасно... вырвали? — сказал Мирон.

Если его отец действительно был таким, как говорят, то Мирон весь в него. Не то что обидеть человека — комара жалко. Бывало, едет на тракторе, а мы кричим: травку помнешь!

Мирон помаргивал, жалостливо глядя на свою работу: с грушей повредили и ольховые корни.

— Немножко не подумали...

С кем бы ни говорил — неотрывно смотрит прямо в глаза. И по ним определяет: не вырвалось ли неосторожного слова? И тут же смягчит.

— Ей оставшихся хватит! Прикрою землей, ничего, дай бог тебе хорошей жизни, — ответил отец и задумался. А вот надо же! — сказал он следом. Кладут подлеца с человеком, который за людей жизнь отдал. Только у нас могут... Нет, правды не будет!

Все-таки не выдержал!

— Обедать пора, мать давно звала, — поспешно сказал я. Надеюсь, что отец поумней. Упрекает апсарцев во всех грехах, а не подумал, что наотмашь бьет по больному месту.

Настала весна, прошло лето, отпыхал жаркий август... Новую весну отцовская ольха не встретила.

И вот недавно, стоя во дворе, долго разглядывал обломанные сучья: нету теперь ольхи, загубили. А рядом лежит дикая груша, корявый ствол зарастает травой, торчат скрюченные мертвые корни. Ничего не оставалось отцу, как срезать лозу: может, корешок выбросит молодой побег. Конечно, отец не даст погибнуть виноградной лозе, но я сейчас не об этом. Ему казалось, что деревья мешают друг дружке, и просчитался. Вырвав одно, загубил другое. Отличи хорошее от дурного! Ни разъединить, ни разорвать — настолько тесно сплелись.

Это маленькое умозаключение грустно меня позабавило. И подобно тому как река непременно приведет к морю, так и оно, мое умозаключение...

Потерпи, Адица, я вернусь позже к этому разговору, и мы вместе продолжим.

Скажи, способен я... на убийство? Всегда и для всех был «не от мира сего», книгочей, воздыхатель, мечтатель... «Алиас, — подшучивали надо мной, — расскажи про большую любовь! Правда, что, кроме нее, ничего нет на свете?» Эти шуточки я слышу до сих пор.

Как ты думаешь, Адица, почему я уехал из Апсары? Пока был в армии, мне было легче. А вернулся — и старое вернулось. Каждый день видеть тебя, избегать, подавлять в себе желание, терзаться... И ты это знала! Правда, я уже был не совсем тот, что до армии. Небо надо мной расчистилось, кое-где посверкивала голубизна. А если и находили сызнава тучи, то ненадолго... Впрочем, настоящая причина моего бегства в другом. В армии я научился шоферить. И в колхозе благодаря Мирону сразу дали грузовую машину. Я неплохо водил. Не перечил завгару — куда ни пошлет. Пригодилась привычка к армейской дисциплине. Да хорошие привычки, как известно, не навек. Вскоре, по выражению отца, ослабла узда...

Твой Маджгана тоже крутил баранку. Если и приходила мыслишка подстроить ему какую-нибудь неприятность, то гнал от себя. Так шло время, а через полгода сняли с машины и перевели в гараж. Когда обсуждали мой «вопрос», выступил твой муж, будто мало мне зла причинил. Говорил, желает одного только хорошего, — но это себе в оправдание. Гвоздем сидят во мне его благие предостережения:

— Хватит заливать за воротник! На наших же глазах попадет в аварию. То вон в дерево врезался, то в яму угодил. А если б людей вез?

Возразить нечего, все как есть. Только мудрость, которой жизнь учит, состоит еще и в том, чтобы понимать разницу между «нужно» и «можно». О чем сказать и о чем лучше промолчать. Если бы и я поднялся и рассказал, что мне известно о нем... Ты, мол, в открытую и я! В незавидном бы положении оба вы оказались: как смотрели бы друг другу в глаза? Ты знаешь, что я мог сказать...

Помнишь Алхаса? Его дом в самом начале села. В то время он работал на самосвале, тоже шоферил. А теперь не баранка в руках, а костыли, живет на инвалидную пенсию. Попал в аварию... Было ему тогда лет пятьдесят, семья, дети, у начальства на хорошем счету.

С того злополучного собрания мы вместе возвращались домой. Я не сдержался, все кипело внутри, точно один Маджгана и виноват.

— Хватит, сколько меня топтал! — Я аж задышался от злости.

Алхас молча посмеивался. И я вовсе осатанел! Конечно, откуда ему знать, что творилось у меня на душе.

— Ладно, уймись, ничего плохого он не сделал. Остынешь — будешь благодарить.

— Ага, приду поклонюсь! В ножки! Спасибо за все, так мне и надо! Все вы одинаковы...

— Подумаешь, счастье — сидеть за рулем. Тебе же лучше. Теперь все от тебя зависим! — сказал Алхас.

Я и рот раскрыл: никак не ожидал, что он про собрание. Я-то ведь совсем о другом!

— Все равно мог бы и промолчать.

— Да что он тебе сделал такого?

— Спроси, он расскажет.

Все же взял себя в руки. Не выворачивать же наизнанку душу. Но нелегко было... И вот думаю: зря, надо было сказать о Маджгане, какую он мне подножку поставил. Может быть, все повернулось бы иначе. Алхас умный человек, хорошенько не взвесив, слова не выложит. Успокоил бы, вразумил... И не стряслось бы того, что такой тяжестью легло потом на мою совесть. Хотя как знать! Уже не воротись... Я бы не только из Апсары, на край света убежал бы — лишь бы вернуть Алхасу здоровье!

Лишь одно слабое утешение — напоследок, когда понял, что нельзя оставаться в селе, исказнив себя, сам пришел к Алхасу.

Не бойся, твоего имени я не коснулся. Если бы слышала наш разговор, убедилась бы, что не лгу. «Наш разговор»! Можно подумать, беседовали за мирным стаканом... Я не давал ему слова вставить. Кипел, бурлил, и было не остановить, как убежавшее молоко.

Сколько ночей не спал, все думал: что же мне делать?

Я смотрел на Алхаса, на его искалеченную ногу, и меня душили слезы. Жалость, раскаяние и презрение к себе... И растерянность. Я чувствовал, что всего лишь игрушка в руках какой-то злой силы.

Ведь это я искалечил Алхаса!

Не веришь?

Не веришь, что я способен... Я бы и сам не поверил!

Нот послушай наш разговор.

— Заходи, заходи, Алиас! Как давно тебя не было... Кто привез меня в больницу? Ты. И навещал... Я там, в больнице, часто думал о тебе. Где пропадал? Может, обидел тебя чем-нибудь?

Апсарцы любят похвалить друг друга, преувеличить, превознести твою честность, доброту, верность обычаям. Это у нас в крови! Да, все было правдой, что обо мне говорил

Алхас. Во всяком случае, многое. Отвез в больницу, не дал умереть — и вот в его представлении сложился образ бескорыстного друга, готового в любой момент прийти на помощь... И этот честный, этот бескорыстный... является в дом к бедняге, является затем, чтобы покаяться: ты думаешь обо мне лучше, чем заслуживаю, я подлец!

Ты бы видела, как радостно он заковылял на костылях мне навстречу, когда я окликнул! И что-то перевернулось и умерло во мне. Как он смотрел на меня, неловко и поспешно переставляя свои костыли, какие были глаза! А я видел в них вопрос и мольбу: «Разве я не любил тебя? За что же ты меня погубил?»

Что сказать ему, я вытвердил назубок.

И начал как ни в чем не бывало:

— Кто дома, Алхас?

— Дома хозяйка, она будет рада. Заходи... Знаешь, соскучился по работе, поговорим. А что так рано? Ничего не случилось?

— Да вроде того... Уезжаю! Вот и зашел сказать на прощанье несколько слов.

Что-то насторожило его, уже не настаивал, чтобы зашел в дом. Следом за мной заковылял через дорогу. Мы сели под деревом. Я посмотрел на его вытянутую негнущуюся ногу и отвел глаза.

— Ты и сейчас в гараже? — спросил Алхас.

Я кивнул. '

— Не обижайся, сам виноват. Пьяницей не назвать, не такой, чтоб валяться в канаве... Но часто закладываешь. А машина, проклятая, знаешь какая. Маджгана ни при чем.

— Конечно... — усмехнулся я, — обломить птице крыло и ее же обвинить, что не может летать. Но это так, к слову. Я ведь по делу к тебе... — Достал сторублевку и положил Алхасу в карман: — Передай сыну. Слышал, что уезжает. В дороге пригодится.

— Спасибо. Дай бог, чтобы и я смог тебя отблагодарить. Женишься — будут дети... Да, пенсии не хватает Ломал голову: что дать парню в дорогу?

И вновь заговорил о больнице: когда лежал, кто дескать, навещал чаще других? Не забудет хорошего.

Я слушал со сжавшимся сердцем. Бадз против меня — праведник! Хоть знал, за что стреляет в человека. Прав или не прав — другой вопрос. А этот, ни в чем не виновный... Как говорят у нас в Апсаре? «Несчастье не выбирает — все равны, и хорошие, и дурные». Оставим и тех и других, даже ты не подозреваешь что... чуть не сказал: виновата!

— Не знаю, Алхас, как начать... Уезжаю из Апсары. Хочу спросить: как ты думаешь, почему я сразу нашел тебя? Когда ты сорвался с машиной...

— Судьба привела! Если б не ты, разве я остался б в живых? А нога что — пустяк.

По соседнему проулку, грохоча, проехала грузовая машина. Алхас прислушался, лицо напряглось и вдруг плачуще, безнадежно опало. Мне было тогда лишь до себя, я не понял причины. Только спустя несколько дней, думая о нашем разговоре, вспомнил его потрясенное лицо. Да, он был прирожденный шофер...

— Судьба? Не я, так сваны подобрали бы. Я сделал другое, Алхас...

— Что ты говоришь! Вот оправлюсь немного — и в гараж слесарить. Не хуже твоего получится... Хотя руки у тебя золотые, все к тебе обращаются... Слушай, будешь в городе, купи мне палку поудобнее. Костыли скоро не понадобятся.

— Куплю, Алхас. Обязательно!

— Кто на твоей машине?

— Подожди, Алхас. Бог с ней, с машиной. Когда совесть не мучит, остальное ничего не стоит.

— Совесть? А что ты сделал такого?... Ты о чем говоришь?

— А вот! — И положил руку ему на колено. — Вот это и сделал.

Он решил, что шучу.

— Говоришь: судьба. Обоим нам повезло, что остался жив...

— Детям моим повезло, это верно. Сам не пойму, как из такой аварии выкарабкался живым! Машина-то вдребезги. По частям поднимали...

— А почему сорвался, знаешь?

— Я же тебе говорил. Еще в больнице. Дорога из рук вон, одни повороты на подъеме. А потом крутой спуск. Перед выездом проверял тормоза, все было в порядке. Лучше б, конечно, ехать на своей, но завгар дал машину Маджганы. Говорит, поезжай на этой, только что из ремонта. Кто ремонтировал? — спрашиваю. Алиас. Ну, раз он — о чем говорить! Еще летом завфермой договорился со сванами насчет дранки. Нужно было покрыть козлятник на пастушьей стоянке. Документы на руках, садись в машину и поезжай. Должен был Маджгана. А у него как раз мать заболела, приходит к заведующему, не могу, говорит, мать надо везти в Сухуми, пробуду дней десять. Пусть подождут, а нет — отправляйте другого. Ждать некогда, зима на носу. Снег выпадет — ехать и думать нечего! Вот завфермой вместе с председателем и пришли ко мне: выручай...

— Ты бы сказал, что машина неисправна.

— Сорвался бы и Маджгана. Тут опыт уже ни при чем... Да я и сказал про свою: мол, барахлит. А мне: бери у завгара ключи от машины Маджганы, она на ходу.

— В такую дорогу на чужой машине!..

— Силком не заставляли. Но время подпирало. День-другой — и снегом закроет перевал. Я не мог отказать.

— Если б знать все наперед!.. А ведь я всю ночь не спал, сколько раз поднимался, выходил... чтобы все назад переиграть, чтоб Маджгана вовсе с места не стронулся... А потом, перед рассветом... Махнул рукой, и так стало мне покойно, так светло почему-то, точно траур сняли с души... не успеет сегодня солнце зайти, рассуждал я, и наденут черное по Маджгане! Выпил несколько стаканов и отправился в гараж...

— Как же ты пьяный-то поехал меня искать? А правда, я тогда удивился: как он здесь вовремя оказался! Что его привело?

— Ах, Алхас, Алхас! Многому ты еще удивишься, когда узнаешь. Не торопи... Люди, оказывается, на все способны. Зависть, месть, обида... Опасные вещи! Богом или чертом они придуманы? Считал, раз обошлось без жертв — забуду. Не получилось. Как вспомню кровь, а ты лежишь в пыльной траве... Если бы не выбросило из кабины, костей бы твоих не нашли!

Да, в то утро прихожу в гараж, сторож уже в будке. Видит, что я поддал, и решил небось: так болтается, дома не сидится. А мне посмотреть, ушла машина Маджганы или еще здесь.

— Что такое... сначала один пришел, теперь ты? Когда вы так к работе рвались? — ворчал сторож.

— А из наших шоферов был кто-нибудь? — спросил я.

— Был, да уехал! Уж, наверно, до Сванетии добрался. Знал, что дальняя дорога, ну и поставил бы машину возле дома. Зачем тащиться сюда, будить старого человека...

— Нехорошо поступил! А легко ли ему? Подумай. Оставлять молодую жену, когда самое время для объятий... вылезать из нагретой постели... Ха! Это очень трудно. Но ничего, ему полезно пройтись пешочком. Подышал свежим воздухом — легче будет жать на педали.

— Хай, Алиас, совсем ты пьяный, что ли! Постыдился б болтать. Он тебе в отцы годится. Верно, не сделавши добра, не получишь худа. А Алхас-то о тебе везде одно хорошее... Так-то ему платишь! Тьфу ты, господи, видеть тебя не хочу. Иди себе с богом!

Я опешил, ушам своим не поверил.

— Про какого Алхаса говоришь, старик? Вон его машина! У тебя спросонок с умом неладно. Это Маджгана в рейсе.

— Будешь меня учить... Залил zenки и мелешь. Разговаривать не умеешь! Я Алхаса от Маджганы не отличу?

Вспоминая то утро, совсем забыл про Алхаса, который сидел рядом. Будто кому-то другому, не ему рассказываю... А он то и дело поглядывал в сторону ворот, как бы кто не услышал.

— С чего тебе в голову-то взбрело, что поедет Маджгана? — проговорил Алхас.

— Да будь он тогда в гараже, я бы на колени встал!

Вырыл яму для одного, а угодил в нее тот, кого больше всех уважаю... Бросился к первой попавшейся машине, завел — и вон из гаража! Сторож за голову взялся, подумал, что спятил.

— Выходит, знал, что попаду в аварию? Поверить не могу...

— Когда увидел тебя на повороте...

— Выходит, подстроил Маджгане, чтоб отказали тормоза? Он, значит, обвинил тебя в пьянстве, и ты ему... А что же твой отец?

Он все еще думал, что это из-за собрания. Будто такое счастье — крутить баранку!

Алхас попытался встать. С трудом оперся на костыль, но не смог сладить с негнущейся ногой. И все повторял:

— Твой отец! Его отец...

Словно вдруг забыл мое имя. «Его отец». Человек, которого обесчестил сын...

— Иди, — Алхас махнул рукой. И я увидел, что он смеется.

Напрасно говорят, что смеются только в радости. Он смеялся тихо, в растерянной задумчивости. Лучше бы ударил! Потом сказал — и я понял, что самому себе:

— Хайт, лучше бы я погиб... Бадз убил человека. Но кто он по сравнению с этим трусом! Тот хоть думал, что защищает честь... А про этого говорили: мол, выпивает, но в порядочности никому не уступит и руки золотые... Действительно, когда вышел на поворот, тормоза не сработали. Только успел вывернуть руль... не помню, как вывалился из кабины. Как машина ушла вниз, как ее било о камни — не слышал. Ничего не слышал...

Тут я не выдержал, Адица. Никогда, даже себе, не произносил этих слов, а тут сорвалось:

— Если топчут тебя — топчи сам! Так уж случилось, что не он, а ты оказался... Теперь знаешь, кто тебя чуть не убил.

По-моему, Алхас не слышал.

— Сколько спрашивал себя: откуда он взялся? Сваны вытащили наверх, а он вот он... на нашей машине... Куда ехал? Если за дранкой, зачем посылали меня...

Надо было встать и уйти. Но я был точно связан... Все, что сказать, обдумал заранее. А что потом? Не раз я вспоминал эту минуту.

— Маджгана меня оскорбил, оболгал, лишил работы, и я, как последний трус, решил исподтишка отомстить? Ты ведь так и думаешь? Пусть! Об остальном тебе незачем знать.

Я сказал, кажется, все. Иди, больше тебе делать здесь нечего.

Алхас молчал. А я будто ждал чего-то — от него, себя...

— Может, всего и не знаю, — заговорил Алхас. — Но пойти на такое способен только

кровник. Кровная месть у нас испокон веков... Одно знаю, отвез меня в сухумскую больницу ты, чаще других навещал, из палаты не вылезал... врачам, сестрам делал подарки... И я считал, роднее нет человека. Разве угадаешь, что у кого за душой!..

Я чувствовал, ему невыносимо видеть меня. Ты права, Адица, я эгоист: если мне тяжело, то это мне тяжело, и я должен сбросить груз, освободиться. Чтобы жить дальше. Жить! А гнуться... Нет, я не кончил, было еще что сказать.

— Слушай, Алхас. Маджгана на крючок не попался, повезло ему и на этот раз... Но сейчас я хочу о другом. Ты знаешь, с Маджганой мы встречались дважды за день, перед рейсом и после. Ходит такой счастливый, сияющий... У меня руки дрожали, еле сдерживался, чтоб не хватить молотком по башке...

— Откуда такая злоба?..

— Да, злоба! Но после того случая все ушло из меня — и злоба, и отчаяние... начисто! Стал даже заискивать перед ним. Проверить машину — пожалуйста. Смажу, почищу... Потом тебя выписали из больницы, и в Апсаре стали понемногу забывать об аварии. Жив человек, назначили пенсию — дескать, и слава богу. Люди забыли, а я? Встречу Маджгану, он про свою семью рассказывает, словно мы помирились. Ах, какая у него жена Адица, ах, как падчерицы ее любят, будто мать родную! А ты, Алиас, слушай и умиляйся. И казни себя, что этот счастливчик живехонек, а за него страдает невинный... Думал иногда: пойду в милицию и все расскажу, отсижу срок и выйду с чистой совестью. Или к тебе пошлю человека...

— Ну и чем бы мне это помогло?

— В старину был обычай: плата за кровь.

— Ты бы заплатил за мою ногу? — усмехнулся Алхас. — Интересно, сколько бы выложил?

Кое-как он поднялся, встал на костыли. Отошел на несколько шагов.

— Хайт, чтобы так не похожи были отец с сыном!

И я пожалел, что не открылся отцу. Если бы он встал между нами, может, все обошлось бы. Был бы жив Арутан, послушайся он отца, и Бадз не сидел бы в тюрьме. Да, нужно было открыться отцу...

— Алхас! — крикнул я. — Не жалея, скажи, чего я заслужил. Мне станет легче.

Когда оставляют наедине с больной совестью — это тяжелее любого позора. Молча отворачиваются и уходят, считая, что недостойн ни жалости, ни упреков. Много тяжелей, чем если бы за добро не отплатили добром. «Ты не знаешь, Алхас, какую боль мне причинил Маджгана. На моем месте ты не раздумывая...»

Если бы люди перестали скрывать друг от друга, что у них на душе, страшной сделалась бы наша жизнь. Тайные укоры, вражда, недружелюбие выползли бы из своих нор... Позор — отомстить, ударив из-за угла! А если открыто? Оповестив о своей ненависти весь белый свет?.. Ты первая, Адица, назвала бы меня предателем.

Алхас приостановился, вытащил из кармана деньги и бросил...

Прости, Адица, снова приходится отложить перо — с лесозаготовок прибыла машина, надо идти...

Привезли в связке несколько огромных буковых стволов. Мне хотелось погладить их светоносную гладкую кору... точно это не мертвое дерево, а тело уснувшей молодой и сильной женщины. Сейчас разгрузят и пустят на пилораму. Осматриваем каждый ствол... Есть сходство между затянувшейся раной на человеческом теле и следом от пули или осколка на стволе дерева. Если не вырезать застрявший свинец — может попасть под зубья пилы.

Вокруг собираются старые фронтовики:

— Винтовочная! От трехлинейки.

— Нет, это немецкая. Чтоб им в голову попало! Первый раз, что ли, вижу?

— Кого-то спасло дерево...

А шоферы спешат. Выгрузят бревна — и снова в рейс. У них так: до обеда привезут, перекусят и тут же назад. С ночевкой на месте. Иначе засветло не успеть туда и обратно. А главное, со встречной машиной не разминуться на узкой дороге.

Однажды, в свой выходной, и я поехал на лесосеку со знакомым водителем. Хотелось посмотреть. Расскажу, как было, пусть это даже и не красит меня... Все в тот месяц смешалось, перепуталось, и такая тоска навалилась! В нашем заводском клубе иногда крутят кино, даже артисты порой заглядывают, есть и библиотека. Но ничего не помогало. В душевной комнате обычно открывают форточку или на улицу выходят, чтоб продышаться. Так и я. Захватил с собой кое-какой еды в дорогу, отдал Дамша Петровичу и поехал.

Проскочил мост на Басле и через Сухуми к СухумГЭС. Едем, едем, дороге конца нет. Добрались до подножия горы Дау, возле которой на бзыбском берегу расположено село Псху. Рядом лесозаготовители поставили свои палатки. Как они на такой крутизне рубят, а потом стаскивают тракторами?..

Здесь есть на что посмотреть, но самым удивительным была для меня дорога.

Когда кружили по серпантину, взбираясь вверх, я не очень обращал внимание. Порожняком езда легкая. А вот обратно, с грузом в тридцать тонн... То и дело чиркали бортом о скалы, глянешь в другую сторону — голова кругом идет, пропасть, облака ползут под колеса, одно вообще в воздухе висит. Говорят, привыкаешь, когда такое изо дня в день. Но как раз привычка и может погубить. Шофер, с которым ехал, бояться не боялся, да я по глазам, по лицу его напрягшемуся видел, что каждую минуту готов к худшему. Если откажут тормоза, прыгай из кабины, пока не загремел... Хотя и тогда навряд ли останешься цел. Как пойдут за спиной бревна крошиться — подумаешь, представишь на миг, и не по себе!

Если забыть, что не за так работают да что леса начисто сводят, то всем бы шоферам по Золотой Звезде на грудь.

Одолев такую дорогу, покуда живой и здоровый, въезжает шофер на завод... И каково, если к нему отношение плевое! Крановщик куда-то запропастился, стой жди... Или поищи, побегай. Нет и нет подлеца, а кроме него, кто сгрузит?

— Алиас! Если еще не поддал.

— Кран ремонтирует. Что ж, не сможет и стрелу нанести?

Идут ко мне и просят:

— Не откажи, Алиас! Что тебе стоит, Алиас!

Не скрою, люблю, когда просят. Значит, нуждаются по мне, не обойдутся. Дай-то бог, чтоб и ты почувствовала когда-нибудь, что не можешь без меня обойтись! Видишь, о какой малости молю... Как осиротевшая старуха.

Сантименты в наш практичный век! Только и слышишь: что почем да как ловчей ближнего объехать.

Спросишь, как научился работать на кране? Кабина па высоте пяти-шестиэтажного дома. Видны не только поселок, море, река Кодор, но и наша Апсара. От нечего делать залезал к крановщику, не давал ему скучать. Насмотревшись на окрестные виды, следил за работой. Ничего вроде бы хитрого: снизу кричат «вира», «майна» или флажками машут. Вниз или вверх и куда груз подавать.

Подходит один из шоферов, смотрит умоляющими глазами, помаргивает. Ладно. Беру свой деревянный метр, тетрадь и карандаш.

— Вот гляди, бывший коллега. Когда доска выйдет из-под пилы... Ну, ты знаешь мою работу. Действуй!

Народ ушлый, понимает с полуслова. Наш снабженец их приучил. Фриц, а если хочешь знать его настоящее имя — Самсон Григорьевич. Шоферюга — в карман, достает четвертак, словно мы в очко собрались перекинуться, и объявляет, на сколько идет:

— Прошу, не подведи. Мало — добавлю.

Что ему эти двадцать пять! Он за лето на легковую машину заработает. К деньгам я тоже равнодушен, но не в них дело.

— Спрячь свои кровные, — говорю, — я разгрузу. Только попроси директора, чтоб он меня попросил.

Помимо того что не имел права, была и другая причина: с директором мы были немного не в ладах. Не поверишь, если скажу, из-за чего между нами кошка пробежала. Точнее, собака. Мой Дамш. Мой черный пес, который сейчас спит в своей будке. Но оставлю до другого раза эту историю, из-за чего Фриц, директор и я не можем Спокойно смотреть друг на друга.

Вот так, пусть попросит директор. Без этого я не согласен. Потеряю четвертак, а приобрету больше.

Кран не нужно гонять по рельсам и разворачивать — стрела сама доставала до машин. Разгрузил, шоферы мне «спасибо», поднимают над головой в кулак сжатые руки — и по машинам. Выехали один за другим за ворота, скрылись в облаке пыли. Уехали, тишина. Стою на верхотуре, смотрю на горы, в ту сторону, где родная Апсара. Потом отворачиваюсь: не могу, не хочу! В небе ни единой тучки. Желтеют еще не убранные кукурузные поля. Кое-где, вижу, ломают початки, косят чал на корм скоту... И до рези в глазах блестит море. Далеко-далеко, как легкое облачко, плывет корабль. Куда? Что за люди на нем? Куда им плыть? В детстве, когда над нашим домом пролетали журавли, я кричал вслед, просил, чтоб забрали, и моя мать, заметив их раньше, уводила меня в дом и запирала дверь. Говорили, что журавли что-то забирают с собой... Я не знал, что. Но журавли всегда действительно что-то у меня забирали... А когда подрос, уплывающие корабли стали для меня тем, чем были когда-то журавли.

Стоя в кабине крана, я долго слежу за приближающимся кораблем. Из облачка он превращается в чайку, потом становится величиной с журавля... и вот уже видны люди на палубе. Возвращаются, их ждут на причале...

Я отворачиваюсь. Как ребенок, потерявший мать, ищу в слезах свою Апсару. Еле различима в голубой дымке. А дальше горы. Синие, холодные... прекрасные. Таким же бывает порой и небо. В тучах, наполненных тяжелой влагой. Они затягивают горы и небо, грозно темнеют, и огромный мир кажется крохотной апацхой с закопченным потолком. Низовой ветер гонит над долиной стайки белоснежных облачков, похожих на журавлей. И тут на миг проглядывает солнце! Горы делаются нежно-синими, вдруг ослепительно зазеленеют, окутанные вверху сиреневым дымом, и снова мрачнеют. Над ними, как дед среди внуков, седой Ерцаху. Мысленно вхожу в Апсару. Дома, разбросанные по склонам холмов, в жухлой осенней зелени. Лай собак, людские голоса... То поднимаясь, то кидаясь вниз, через село бежит дорога. Добегает до центра, где сельсовет. Я вижу себя идущим по дороге. Когда покидал Апсару... Всего лишь год! А кажется, давно-давно, сто лет прошло. Отцу и матери сказал, что года два где-нибудь поработаю. Они не возражали. Они знали о наших с тобой отношениях и понимали, что мне лучше уехать, забыться. Может, где-то еще есть мое счастье...

И я закинул рюкзак на плечи. Дома был щенок (подарили соседи) — тот самый Дамш, который сейчас спит в конуре, положив морду на лапы. А дома он спал на веранде на старой овчине, которую принес отец. Я взял щенка на руки. Мягкий, тепленький, влажный синеватый носик.

— Не беспокойся, нан, — сказала мать. — Вырастет и тебя встретит.

Отец молча стоял, опустив голову.

— Ну, прощай! — Я обнял отца и вышел за ворота.

Щенок заскулил. Пошатываясь, смешно переставляя слабые лапки, побежал за мной. И повалился в траву.

— Иди, иди! — резко сказал отец, словно прогоняя со двора.

Мать подняла щенка и хотела унести.

— Ишь раскулился!

Она сердечна и ласкова, но бывает суровой.

Щенок заскулил пуще, и я забрал его у матери.

— Вон как по хозяину плачет! Тогда бери с собой, — смягчилась она. — Может, это примета хорошая...

— Собаки ему как раз не хватает! — насупился отец.

Не слушая, мать сходила в погреб и принесла корзинку для сбора чайного листа. В нее и посадили щенка.

Если б я знал, что придется претерпеть из-за этого дьявола, взял бы его, как же! Бросил бы и ушел. Да и тогда не думал забирать. Вынесу со двора вместе с корзиной и оставлю у чьих-нибудь ворот.

Кого мне благодарить, как не мать, что все получилось иначе! Если собака или лошадь увяжется за хозяином, сказала она, значит, тот вернется живым и здоровым.

— А этот-то, прямо как дитя!

— Бери, бери. Вернешься — все здесь твое. А нет — этот цыпленок и останется, — отец затоптал сигарету, достал другую. Никогда он так много не курил. Повернулся и ушел в сад: он все сказал и прибавить нечего.

В воротах я оглянулся. Рюкзак на плече, в руке корзинка, из которой торчит щенячья мордочка. С такой корзинкой, помню, в первые послевоенные годы ходил по селу человек и кричал: «Мыло, иголки, нитки!»

Я махнул матери свободной рукой и поправил рюкзак. Щенок смотрел на меня мокрыми глазами. Я хотел отнести его подальше. Остановившись перед воротами пастуха Гудисы, должником которого считаю себя до конца жизни, столько он мне сделал хорошего, я опустил корзину и вздохнул.

Хозяин сидел под деревом, сняв башлык с головы и положив его на колени.

— Заходи, дад, — вставая, пригласил старик.

Разве мог я пройти мимо, не попрощавшись! Да и у кого еще, кроме него, оставить щенка? Ведь если хочешь узнать об Апсаре, кто откуда родом и что за человек, с совестью или про совесть никогда не слышал, — поговори с Гудисой. Многому он свидетель, но знает и то, чему свидетелями и его деда стать не успели. Время, когда был с ним в горах, лучшее на моей памяти.

Старик погладил щенка, а у меня, думаешь, наверное, вертелось на языке: мол, принес подарить, хорошей породы... возьми, дедушка Гудиса. Вздор! Я просто зашел попрощаться. Чувствовал, что щенка никому не отдам.

Вот я иду по центральной улице, за плечами рюкзак, в руке корзина, а навстречу, радостно улыбаясь, женщина в свадебном наряде. Помнишь ее? Ну конечно, Мацкюя! Сколько раз мы прятались от нее, когда шли в школу или возвращались из школы! И ты однажды призналась:

— Жалко ее. Как увижу, так целый день сама не своя!

А мне было смешно: худющая, заношенное подвенечное платье и цветочек в руке...

— Вижу я вас, вижу! — кричала Мацкуя. — Спрятались в кустах, сумасшедшие... Придете на мою свадьбу?

И ты, Адица, отводила глаза, стесняясь слез. Не знаю, кто мне вложил их в голову, но я выпячивал грудь и молот глупости насчет мужества и терпения: каждый, дескать, должен нести свое горе, причиненное войной, — будь то мужчина или женщина.

Теперь же, увидев ее на дороге, я накрыл шапкой корзину и бодро зашагал, будто по неотложному делу. Мы поравнялись, Мацкуя с сожалением, как бы оправдываясь, развела руками:

— Зря я ходила, Алиас, почтальон опять ничего не дал. Ха! Прячет. А я все равно отберу!
— Она повязала на голову белый платок, потом сдернула и набросила на плечи. Сама поскучнела, увяла.

Было такое чувство, словно я в чем-то виноват перед ней, словно мы с ней даже похожи. Я не утешил ее, не сказал, что обычно в таких случаях говорят: не падай духом, не сегодня, так завтра получишь письмо. Молча стоял, спрятав за спиной свою корзину.

— Ты далеко? — спросила она, опустив глаза. Будто стеснительная невеста!

А ведь мы, Адица, не как другие, никогда не кричали: «Невеста Мацкуя! Где твой жених?»

— Возвращайся поскорей, Алиас. Когда придут мои братья, так и свадьба...

— Они вернутся. Обязательно вернутся! — Я поклонился этой бедняге.

— Дай бог тебе здоровья! Вот славно! А то приглашаю на свадьбу, а некоторые плачут! — со смехом кричала Мацкуя мне вслед.

Не знаю, как донесли меня ноги до автобусной остановки. В тени под деревом, разговаривая, сидели, стояли старики. Ждали автобус или так сошлись. То и дело раздавался смех. Я не слышал, о чем речь, но невольно заулыбался. Смотрю, Чокнутый среди них. Болтают, что он сумасшедший, не все дома, а уважают, как никого другого. Не пропустят мимо своих ворот не пригласив.

О том, как Чокнутый смешил почтенных старцев, расскажу в другой раз, Адица. А сейчас... вспомнил несчастную Мацкую и расхотелось продолжать.

Бог с ней, пусть она живет себе, Апсара...

По железной лестнице я спустился со своей верхотуры. В цех уже пошли бревна, которые выгрузил. У будки, ворча, потягивался Дамш. Если меня долго нет, он начинает грызть поводок.

— Дамш, Дамш! — Я погладил его по голове. — С Фрицем ты правильно поступил, — сказал я и ласково прижал пса к ноге. Мацкуя прямо-таки стояла у меня перед глазами...

Как вспомню о ней, сразу всплывает и ненавистное имя — вот у кого не жизнь, а сплошная малина. Ютится где-то на земле полоумная ничейная невеста — как бледная сорная трава, выросшая под порогом, нет никому дела до нее. Хорошо одним фрицам покуда...

Сейчас он, правда, сидит, но следствие еще не закончено. Я держу язык за зубами. И зубов не показываю до поры... Уверен, мы не ошиблись с Дамшем.

Известно, кто утром споткнулся, до самого вечера спотыкается. Повторяюсь, но так уж устроена жизнь. Почему я уехал из Апсары? Чтобы забыть Адицу. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Чтобы не видеть рожу Маджганы. Не встречать ковыляющего Алхаса. Забыть, все забыть...

Работы везде хватает. Без куска хлеба не останешься. А кое-что можно и сверху положить, как выразился наш директор. Если с умом. Я так и жил. Одно беспокоило: за что ты меня продала? Я должен знать. Не для того чтобы извлечь какую-то выгоду и заглушить тоску. Теперь ничто не поможет. Комиссар Мегрэ, набив трубку, копался в хитросплетениях чужих поступков и судеб — почему же я не смогу разобраться в себе самом? Я ставил перед собой вопрос за вопросом и искал ответ. Для себя одного. А потом Мери вбила мне в голову написать тебе, и по другому пути я пошел...

Кажется, многое понял, еще больше осталось в тени, и тут Дамш, чтоб он взбесился, потащил меня в сторону. Есть ли на свете еще такая собака! Если кто не понравится, то, как бы ни ублажал, Дамш, этот странный, этот верный, этот великий пес, за своего не признает!

По утрам, как я уже говорил, мы втроем идем на работу. Я, женщина, с которой... и Дамш. В конуру, сбитую наскоро из досок, я насыпал свежих опилок. Дамш укладывается, но уши торчат, словно ждет, когда позову. И я окликаю: «Где ты, Дамш? — Он поднимает брови и смотрит прямо в глаза. — Тоскуешь по Апсаре? Прохладные рощи, низины, горы... Или забыл?» Дамш смотрит, помаргивая.

В доме моей хозяйки два балкона. На одном из них, который побольше и называется лоджией, я отвел место для пса. С восходом солнца он вскакивает и кладет передние лапы на перила. Как лица у домочадцев, ждущих прихода невестки, светлеют, — озаряются небеса над горами. Я еще в постели и тоже сквозь окно смотрю в сторону гор. Не знаю, слышит ли он со своего балкона неуловимые человеческим обонянием далекие запахи, но его ноздри начинают мелко дрожать, он принимается лаять, на нашу беду.

— Тихо, Дамш! — говорю я с кровати.

Хозяйка ворочается, накрывается с головой одеялом.

— Чтоб его на твои похороны зарезали!

— По дому тоскует...

— Чтоб вас там похоронили в одной могиле! Ни сна, ни покоя.

Что ей ответить, права.

— Это он к тому, что хватит спать, лучше поцелуйтесь! — пробую я пошутить и быстро

вылезаю из-под одеяла.

Нет, теперь этой женщине не до поцелуев. До чего ж зла, когда так разбудят! Я одеваюсь и тоже клянусь Дамша.

— Сегодня чтоб духу псिनного не было! Убирай куда хочешь.

И я в сотый раз начинаю их мирить...

А три месяца назад Дамш и на работе испортил мне жизнь. «Все нервы покушал! — орал директор. — В самое сердце завода вцепился зубами!» Желая загладить дело, я хлебом-солью попытался заплатить за ущерб, но только все испортил. Правильно говорят, собаки похожи на своих хозяев.

А случилось вот что. Вновь приходится о Фрице снабженце.

В шестьдесят пятом, когда я сюда поступил, он работал шофером. Водил старый американский «студебекер». Грохотал отчаянно! То ли из-за этой машины Дамш его невзлюбил, то ли по другой причине, но стоило Самсону Григорьевичу показаться в воротах, как пес ощетиивался и заходился неистовым лаем. Я хватал поводок и загонял в будку.

— Дамш забрехал, значит, Григорьич идет! — говорили рабочие.

Предупреждали: берегись этого человека, что он делал в войну — неизвестно, а до войны кое-кто хлебнул от него горяшка...

Пусть так, но мне-то что? Лично я ничего плохого от Самсона не видел. А хорошее было. Надо ему несколько досок, нигде не оформленных, — идет ко мне на поклон. Мимо не понесешь и не припрядешь. Как только приложу свой метр, запишу — кончено дело, больше не видать ему этой досочки. А чтобы не записал, «не заметил»... Ну, ты сама понимаешь. А сколько он колбасы перекидал Дамшу! Дамш еще был щенком... и все напрасно!

Рос Дамш, поднимался по службе Самсон Григорьевич. Соответственно его служебному положению менялось и мое к нему отношение. Вежлив, приветлив, никаких лишних слов. Что я теряю? Плюну, разотру и забуду. Улыбнуться, завидев его розовые щечки, и покивать — труд невелик. Только чем выше поднимался Самсон, тем неукротимей делался Дамш.

Говорю «поднимался по службе». Тут не так-то все просто. Вдруг снимают с машины и назначают начальником паркетного цеха. Потом бригадиром лесорубов. Продержался не больше двух месяцев. Наконец новая должность — снабженец. Все время в разъездах. Дамш отдохнул... Когда на американскую развалюху сел другой водитель, то, как бы ни грохотала, не обращал никакого внимания. Я уж было подумал, что заморские запахи выводят его из себя...

Два раза в месяц появлялся на заводе наш Самсон. Прошествоует по двору, остановится у Доски почета, где фотографии ветеранов войны, отыщет свою ряху, улыбнется и — в бухгалтерию. Потом к директору на второй этаж.

— Видали, куда поскакал?

— Даром должности не раздают...

— Нынче у директора хорошее будет настроение.

— А вы чего ж? Тоже валяйте!

От работяг не спрячешь, все подметят. И язык им не укоротишь.

— А как крался! Боялся, из того кабинета увидят...

Действительно, только парторга Григорьич пока не сумел прибрать к рукам.

Что до меня, скажу честно: никуда не лез, ни во что не вмешивался. Жил тихо.

Как-то я забыл привязать Дамша, он и накинулся на Самсона. В заводском дворе. Слава богу, я был поблизости. Поймал за ошейник, оттащил. Прямо озверел, рвется, клыки оскалены: «Пусти! Или он, или я!» Самсон, пятясь, пнул Дамша. Лягнул по-ослиному. Но не сильно, едва достал. А то вряд ли бы я удержал собаку. Не знаю, чем бы кончилось.

— У-у, тварь дворовая!.. Меня и фрицевы овчарки не могли одолеть, были как шелковые!
— крикнул снабженец. Лютые складки на переносье, и глаза — как на прорези прицела.

Да, Адица, пусть тот, кто желает тебе смерти, посмотрит в такие глаза! Волчьи... Или будто у ворона, опустившегося на падаль.

Я крепко обнимал Дамша за шею. Кто кого защищал — я Дамша или он меня? Замечала ли ты: ворон-могильщик, покаркав, тут же снимается с места? Ничто живое не выносит его торжествующего похоронного клеткота... Пока успокаивал Дамша, снабженец куда-то исчез. Точно как ворон.

Но с тех пор, где бы ни встретились, первый здоровался. Словно и не было ничего! Черт его поймет... Радоваться, что обошлось, удивляться? «Хайт, дай бог Дамшу здоровья — напугал подлеца!» — думал я. Но почему-то не шли из ума фрицевские овчарки. Что тогда с ним стряслось? Как мигом переменялся человек! В общем-то не лучше и не хуже других... А глаза убийцы, а голос... будто и впрямь ворон прокаркал. «Овчарки... были как шелковые...»

Направляясь в мою сторону, первым делом просит убрать собаку. Да ради бога!

— Дамш, на место! Тихо сидеть. — Загоняю в будку и говорю как бы между прочим: — А то убьет. Что ему ты! Фрица даже овчарки не одолели.

Ничего такого я не вкладывал в эти слова. Наоборот, думал, ему приятно вспомнить героические годы. Но почему-то у снабженца бледнело лицо и на лбу выступал пот.

Словно в сухой валежник попала искра — вырвавшееся у меня слово разлетелось по всем цехам, и пошло:

— Фриц... Точное имя ты ему придумал. Фриц!

— Да он сам сказал, — оправдывался я. С фрицевскими овчарками запросто управлялся.

Конечно, заметили, что Самсону все это не нравится. Некоторых он просто заставил заткнуться. Те меня осуждали:

— Нашел кличку! Забыл, как фашистов называли?

Вот люди! Ничему история не научила. «Не произносите, ефесы, имени Герострата, совершившего ужасное преступление. Он предал огню прекрасный дворец, подобного которому не сотворила рука человека. Ефесы, мужчины и женщины, забудьте подлое имя и предайте проклятию!»

Не произносите, забудьте... Призывы только обессмертили это имя.

Сколько я ни каялся, что жалею, мол, нечаянно вырвалось, сколько ни показывал на Доску почета, — не помогло. Самсона никто теперь не называл иначе как Фриц. Черт меня дернул, навесил собачью кличку... И на кого! На человека куда более могущественного, чем директор.

Ладно бы на этом и кончить, поставить точку, «слинять», как теперь говорят. Но во мне вдруг проснулся Шерлок Холмс! И стал взвешивать и обдумывать каждое слово Самсона Григорьевича. Бывают минуты, когда неосторожным словом человек выдает свою сущность. Она скрыта, «чужая душа — потемки», но и кувшин с вином вырывают из земли на радость или на горе... Что значит «но одолели овчарки»? Всюду распинался, что на фронте с начала войны. Однако ни ордена, ни медали. Знаю, не все вернулись с наградами. Но если столько провоевал, если правда, что брал Будапешт и Берлин, — а с трибуны в День Победы об этом не раз говорил, — то как же так ничем не отмечен? О Будапеште и рейхстаге — охотно, а об овчарках молчок. Рассказал бы, как отбивался от них, как удалось бежать, если угодил по несчастью в плен... Нет, все время на фронте. Какие же овчарки на передовой? Это в концлагерях они сопровождали эсэсовцев.

Перебирая веревочку, шаг за шагом и добрался до конца. Даже по сторонам оглянулся, не подслушал ли кто моих мыслей: ведь подозреваю черт-те в чем. А возведешь напраслину, опозоришь честное имя — что тогда? Сызнова каяться? Не бросить ли все и забыть?

Только как ни держал за руку самого себя, вновь и вновь принимался распутывать узелки, полз по веревочке... И одно выходило: был в плену Самсон Григорьевич. Безусловно, был! Иначе откуда бы взялись овчаркам?

И тут возникал вопрос: почему молчит? Ни полслова — никогда и нигде! Один он, что ли, попал в мясорубку?.. Сколько прошло лет с той поры. Да и время не то, чтобы трястись за свое горькое прошлое. Война есть война, и судьба кому что назначит... Рассказал бы о пытках, о мужестве узников, как травили овчарками... Нет, никогда!

Так я рассуждал и сам же восставал против себя. А кто ты, как не преступник? Потому и другого подозреваешь... Сделал инвалидом невинного человека. Сначала самого себя рассуди и увидишь, есть ли у тебя право судить других. Оставь, не твоя забота.

Только когда это было, чтобы человек, сам же себя уличив в мерзости, остановился перед тем, чтобы не уличить другого? Бесчестный больше всех рассуждает о чести.

Не мог я остановиться на полпути. Этот придушенный и злобный голос — тогда, во дворе, и голос с трибуны... И еще, что особенно насторожило меня: не возненавидел и не

преследовал, а напротив, словно нет и не было у него лучшего друга, чем я. Приветливое, улыбающееся лицо, в глазах — угодничество... Вот уж что несвойственно Самсону Григорьевичу! Не мне бы его ненавидеть, а ему бы меня. Все перепуталось. Действительно, не умею отличить хорошее от дурного. Что я за тип!

Как-то уже говорил о пенсионере Петровиче. Мой сосед, с первого этажа. По вечерам сидим на лавочке, разговариваем. Между ним и Дамшем полное взаимопонимание. Дамш ластится к старику, ложится у ног.

Я рассказал Петровичу о снабженце Самсоне и о своих подозрениях.

— Не вмешивайся! — предостерег старик. — Что слухи? А он сидит крепко и может тебе здорово повредить.

Я задумался. «Курица оттого и пропала, что ходит где попало». Словно про тебя, Алиас, сказано! Скольких людей обманула любовь, и ничего с ними не случилось, перенесли, как дети переносят корь. Женились, обзавелись хозяйством, нарожали детей. А ты к одной приклеился... И таких дров наломал! Невинного человека едва не угробил. Остановись, Алиас, хотя бы теперь остановись! Дался тебе этот Самсон... Открылся перед Алхасом — мужественно поступил. Свою душу спасал. Ага, а подлеца лучше стороной обойти? Наберись и теперь мужества и выскажи в лицо, что о нем думаешь. Только дальше-то что? Что я могу? Существуют специальные органы, пусть и занимаются снабженцем.

Так я думал, то утешая себя, то браня и укоряя. И каждый раз перед глазами вставала бедная Мацкуя в подвенечной фате, сползающей на плечи. Но, господи, почему ясным днем нужно непременно вспомнить черную ночь? Фриц был на войне, многое видел и испытал, постарался забыть о фронтовых лишениях, наел рожу и радуется жизни. С каждым годом все новые дырки прокалывает в ремне, который скоро не с сойдется на пузе. И черт с ним! А она, чем дальше отодвигается отгремевшая война, тем больше становится похожей на высохшую ветку... Но скажите, при чем здесь снабженец?

Было и другое, Адица; попав искроши мне в душу, оно вдруг разгорелось костром.

Бадз застрелил человека, тут же ты вышла замуж, мы оба бросили школу, недоучившись... Ты вышла замуж, а меня отец отправил в горы с пастухом Гудисой, чтобы я не «свихнулся».

Однажды вечером, когда, усталые, сидели в шалаше, Гудиса спросил меня:

— Дад, о ком говорят: умер при жизни? Думаешь, только о том, кто опозорил себя? Если чужое горе не трогает — тебе нет места среди живых.

Простая истина. А глубже не бывает!

И я представил себе: если бы сейчас, как в школьные годы, ты, Адица, встретила на дороге несчастную Мацкую, заплакала бы твоя душа, стало бы тебе стыдно собственного благополучия?

Кто в нашем селе не знает историю Мацкуи!

Еще в детстве лишилась родителей, воспитали братья, заменив ей отца и мать. Цыплята, потеряв клушу, жмутся друг к дружке. Так и дети-сироты ищут утешения друг в друге.

Братья выросли, пришло время подумать о том, как устроить дальше свою жизнь. Но началась война. Ушел на фронт старший из братьев. Младший мог бы жениться, да ведь знаешь про наш глупый обычай: пока старший холост, остальные братья и сестры обязаны ждать. Вот кончится война, вернется старший, женится, тогда позаботятся и о себе. Но война распорядилась иначе. Убивая людей, она убивала надежды живых. Забрали среднего братка. Через два года и младшего. Каждый из них, уходя, говорил сестре: «Ты жди, мы вернемся. Сошьешь себе подвенечное платье, наденем на тебя платок невесты и сыграем свадьбу!»

Что ей оставалось? Ждать. И она ждала... Одна жила в доме, помогали, чем могли, соседи. А войне все не было конца. В каждом письме Мацкуя напоминала братьям о своем ожидании счастливого дня, когда встретит их и они, женившись, выдадут ее замуж. Ей очень хотелось, чтобы порадовались братья, увидев сестренку в свадебном наряде...

Сначала погиб старший. Мацкуя надела траур и носила больше года.

Люди сказали: плохая примета. И она сняла черную косынку. Сняла, а через месяц — похоронка. Она оплакала и этого брата. На кроватях разложила вещи, принадлежавшие погибшим, повесила на стену фотографии обоих, перевязав траурными лентами. Люди помнят, как она в голос причитала по покойным...

Шло время, все чаще радовали вести с фронта, бодрее становились письма младшего брата. В селе устраивали торжественные митинги по случаю наших побед.

Когда у всех радость, то и своя рана не так болит. Хотя на душе эта рана, да одна — потому что еще молода душа и жизнь не успела нанести много обид. Погибли два брата, но не зря погибли, согнали врага с нашей земли. Скоро вернется оставшийся в живых, думала Мацкуя.

А за несколько дней до Победы сложил голову и младший...

Помнишь, Адица, как отмечали пятнадцатую годовщину Победы? Собрались участники войны, увешанные орденами и медалями, был и генерал. Мы, ребятишки, смотрели во все глаза!

Один из выступавших, старик, так закончил свою речь:

— Хай, лучше бы и не собирались! Открылись наши старые раны! — И склонился над черным вытесанным камнем, вытирая слезы.

На камне было выбито: «Здесь будет воздвигнут памятник в честь сыновей села Апсара, погибших в Великой Отечественной войне». А рядом на доске, похожей на классную, выведенные золотой краской имена и фамилии. Все смотрели на эту скорбную доску... Лишь позже вырезали имена на мраморной плите под фотографиями погибших. Не было только младшего брата Мацкуи, пусть земля ему будет пухом: при жизни не успел сфотографироваться.

Мацкуя водила пальцем по доске, качала головой и смеялась. Какая-то пожилая женщина подошла, обняла.

— Братья твои за Родину погибли. Видишь, какой им почет!

Хотели эту женщину вразумить, что не надо добивать несчастную.

— Перестаньте лгать! Поплачет — слезы успокоят душу... — И, как горевестница, встала перед Мацкуей: — Убили, нан, убили фашисты твоих братьев! Не вернутся они!

Мне стало страшно. Я думал, начнет рвать на себе волосы, закричит. Сколько за войну мы слышали таких воплей! Да и после войны. Прибежим — люди во дворе плачут, а покойника нет...

Мацкуя не заплакала, не закричала. Она засмеялась!

— Мои братья... Они обещали. Так вы все приходите на свадьбу! Ха-ха-ха! Братья выдают меня замуж. — Она посмотрела на меня, я попятился, не зная, куда себя деть. — Ты тоже приходи на мою свадьбу!

Глаза Мацкуи были тихие, ясные, в них не было ни печали, ни торжества, и пришла она в белом платье, словно действительно готовилась к свадьбе. Только очень была худа.

— Придешь меня поздравить? — ласково спрашивала Мацкуя.

Я озирался и кивал испуганно.

— Не бойся, дад, — сказал стоявший рядом мужчина. — Стала такой, когда получила третью похоронку. Несчастливая!

Мацкуя вновь засмеялась, прикрыв рот ладошкой.

Я был не ребенок, чтобы не понимать, что означает этот смех...

Вопли по погибшим и смех Мацкуи навсегда останутся в моей памяти. И белое платье... Длинные густые волосы Мацкуи были заплетены в косы, в них красовались два красных банта, будто у девочек-первоклашек. Удивляюсь, как она до сих пор жива! В чем душа держится!.. Точно узница концлагеря. Тогда часто показывали в кино, как наши освобождают заключенных из фашистских лагерей: не люди, а тени.

А у Самсона Григорьевича вид предовольный, щечки — словно сыр, коптящийся над очагом, жирок сочится... Да хоть бы и упырь! Я сам по себе, он сам по себе. Лишь бы спокойно работать, иметь «кусочек хлеба». Убрать Дамша долой с его глаз — и делу конец. Видно, во мне иногда берет верх кровь моей матери. Сердобольная, приветливая женщина, но стоит ей какой-то порог переступить — хуже абрека!

Вышел я однажды на балкон и отвязал Дамша. «Все на свои родные горы тарачишься? — сказал я псу. — Так и отправляйся восвояси, живи среди волков!» Привел на заводской двор и посадил в кузов лесовоза. Хватит, натерпелся!

Моя сожительница обрадовалась:

— Слава тебе, господи, хоть поспокойней будет!

Но не прошло трех дней — спускаемся утром во двор, а он тут как тут, бродяга! Весь в грязи, прихрамывает, язык до земли...

Вот так-то! Если я еще могу расстаться с Апсарой, то с Дамшем нам порознь не жить. И все же порой думаю: «А может, лучше было бы, живи я в Апсаре? От себя не убежишь. Как-нибудь перетерпел бы». И вспомнилась мне, Адица, одна ночь...

Были у меня дела в гараже. Никого. Я да сторож. Вдруг въезжает машина в ворота, и видно, что за рулем вдребезину пьяный. Вылез твой муж Маджгана... Как он доехал? Потрепал меня по голове, словно ребенка, и говорит:

— Сердишься... А я не хотел обидеть.

Я, конечно, понял, о чем он.

— Ты знал, что я любил Адицу?

С пьяным иногда проще: скорее скажет, что на уме.

— Знал. Я многое знаю! — пробормотал Маджгана. — Ты ее не любил вовсе. А она — да! Любила... Но больше теперь не любит. Потому что... ты ее не любил. И не любишь...

Я не стал дальше слушать, отошел. А Маджгана такое молот, до чего я сам нипочем не додумался бы. Мне не хватало воздуха, бесцельно тыркался из угла в угол... Сторож спал в своей будке. Заснул и Маджгана, снова забравшись в кабину. Вскрапывал, уронив голову на баранку руля. У меня дрожали и подгибались колени... Что стоило завести мотор и прикрыть ворота? Скажут, произошло замыкание, а он был в стельку. Те, с кем он пил, подтвердят. Даже уснул, не выключив мотор... Только капелька бензина — и все! Ночь была темной, моросил дождик. Несколько раз я выходил из гаража и возвращался. «Решайся! — говорил себе. — Какой же ты мужчина? Ни одна душа не узнает!»

Ноги уж совсем не держали. Я прислонился к воротам. Тихо было в селе, все спали. Спала и ты, Адица. До несчастного случая с Алхасом в горах оставалось около месяца...

Кажется, в ту ночь я и понял значение слов: дерево крепко корнями, а человек — душой. Не раз их повторял пастух Гудиса. И они спасли меня. В ту ночь спасли. А потом не смогли...

Ты знаешь его, старого Гудису, как знаешь и многих других апсарских стариков. Но не все о нем знаешь. Я не люблю назидательных притч, но все же расскажу. Может, когда-нибудь пригодится... Ее я услышал от Гудисы.

Но прежде...

Вернемся в тот день, когда прозвучал выстрел у магазина. Люди сочли виновной твою мать, и Мсыгуду изгнали из села. Ты послала ко мне соседскую девочку. Сама не осмелилась показаться в доме, потому что знала: вместе нам уже не быть.

Что же потом? Этого ни ты, ни Мери не знаете. Мы с Мироном на машине бросились вас искать. И не нашли. Сопровождавший тебя с Маджганой признался, что сам ночью посадил вас на поезд, но я не верил. Мирон всячески утешал, говорил, что на моем бы месте и шагу не сделал.

— У тебя из-под носу любимых не уводили! — заорал я.

— Не стоит она того. В субботу — невеста, а в воскресенье отдается другому...

— Она не по своей воле! — защищал я. — Или похитил, или принудил силой.

— В старое доброе время умыкали на коне, завернув в бурку. Сейчас — на машине...

— Сейчас и женятся без всякой любви! — резко прервал я.

— И умыкают на поезде.

— О таком способе я еще не слышал.

— Тебе же сказали, Адица была с чемоданом. И одета — хоть сразу за свадебный стол. Ты мимо ушей пропустил. Забыл, что у нее в семье произошло? Да она просто сбежала! Подвернулся Маджгана... Был бы другой — так с ним.

Что оставалось, как не поверить!

А ты поверишь, что я целый месяц не выходил из дому, боялся показаться на людях? Когда невеста сбегает из-под венца, для мужчины нет большего позора. Я был унижен, обесчещен. Только и достоин что жалости.

В отчаянии, но и с надеждой на избавление от терзавших меня сомнений и мук я ушел с Гудисой в горы.

Чтобы ничего не слышать о тебе и Маджгане. Не ловить на себе сочувствующие взгляды. Ты не знаешь, что это такое, — они убивают!.. Недавно поднялся в кабину башенного крана и отыскал гору, где мы пасли. Помню, проводники вернулись в село и мы с Гудисой остались одни. Мужчин в Апсаре было тогда наперечет, прошли времена, когда шумной и густой толпой отправлялись на летние пастбища, выбирали старшего и пасли поочередно. А стадо — за триста голов!

Утром мы с Гудисой гнали стадо на горный склон. А позавтракав, ближе к полудню, снова на пастбище. Трудно с дойными козами. Надо отобрать молодняк и разместить отдельно, два раза в день, утром и вечером, подоить, процедить молоко... Готовить сыр. Но у нас было всего несколько дойных — для себя, молоко шло в пищу.

Так вот и жили вдвоем: я и старик.

Провожая меня, отец, помню, сказал:

— Покарай же, господь, кто виноват перед тобою!

На чью голову он кликал беду? Тебя проклинал, Маджгану? Я и теперь не решаюсь спросить. А тогда и по давню. Мир для меня надвое раскололся. Черное и белое — других цветов не различал.

Точно глубокая река разделила людей. На одном берегу — мать, отец, мой друг Мирон, старый пастух. Чокнутый, над которым все потешались, вечная невеста Мацкуя, на которую война вместо черного траура надела фату — и белое, чистое превратилось в черное... Да еще наш учитель истории, вернувшийся с войны без руки. Ты, может быть, ждешь, что назову и твою подругу Мери? Но она как бы в стороне от тех и от тех. А на

другом берегу — подлость и злоба. И первыми среди проклятых богом — застреленный Арутан, которого, по выражению старого пастуха, зарыли как собаку, Мсыгуда, изгнанная из села... и тот, за кого ты, Адица, вышла замуж. Как только человек, перейдя реку, приближается к подлым, они тотчас хитростью и обманом лишают его всех достоинств. Но хуже, когда с того берега проникают... Они натравливают людей друг на друга, и те забывают, что есть добро, а что — зло. Подлые в стороне потирают руки и наблюдают за сварой. Темный, исподлобья взгляд и крохотные барсучьи глаза. Как у снабженца Фрица... Как отделить берег от берега, чтобы не перебраться вброд и не переплыть? Чтобы очистился мир, чтобы мы вновь стали счастливы? И наступит ли когда-нибудь такой день? Мой отец любил повторять: «Кто упал духом, тот потерял все!» Это обо мне. А если так, что же делать? Как абрек ворваться в дом твоего мужа и, бросив тебя в машину, увезти?.. Нет, на такое ты не способен, Алиас. Про таких говорят: хоть и в штанах — не мужчина! Мужества пи на грош... Лучше смирись. Забудь Адицу. Девушек полно в Апсаре — красивее и честней. Я клял себя, и утешал, и снова клял. Старый Гудиса разговаривал со мной и, словно взяв за руку, уводил от самого себя все дальше и дальше... И горы смотрели на меня, обступив. Ладно, не стану говорить об их красоте. О том, что они исцеляют. Но это так, Адица! Стоишь среди скал, снежные пики нависают, а ты, маленький, одинокий и беспомощный, будто в храме, огражденный от грешной суеты... Тебя поднимает ввысь, овеивает чистым ветром, точно богиня охоты задела своими одеждами... не хотел, а не удержался от слов! Потому что действительно как в храме. О разном говорил со мной пастух Гудиса, но обходил то, что меня угнетало. Конечно, знал от моего отца. Да и так было заметно.

Оставаясь один, я брал ружье. Выходил из шалаша и целился в чучело, связанное из веток, воображая Маджгану перед собой. Спускал курок, приклад сильно отдавал в плечо. Чучело стояло неподвижно и словно бы усмехалось... Когда мы всем классом прибежали на выстрел, о твоём брате Бадзе говорили в толпе:

— Позор кровью смывают.

— У Бадза не было выхода.

И отец согласился:

— Правильно поступил.

Снова и снова я заряжал ружье и палил. Как-то подошел Гудиса. Солнце уже опустилось за хребет, ослепительный свет затопил ущелье и медленно взбирался по склонам.

Гудиса сел на попону, разостланную возле шалаша на плоском камне.

— Полежала на солнце, и выветрился запах. Садись и ты, дад. А ружье не прячь за спиной. Отнеси на место.

За нашей горой, — продолжал старик, когда я вернулся и подсел, — есть еще одно хорошее пастбище. До войны там пастушили. Да и раньше. Называлось Снежное. Потом, когда со склона сорвался Апта, это место стали называть его именем. Многие я сегодня передумал... Вот говорят, хорошее рядом с плохим ходит. А почему? Потому что всякой всячины намешано в человеке. Творец же его иным создал — никаким. Сотворил и ушел, оставил одного. А сам следил: как будет жить? Почти год минул. Живет человек, как ему подобает. Ночь ли темная, ясный ли день, холод ли, жара — ко всему приспособился. Ну и ладно, решил творец и вовсе оставил человека. Тут и появился дьявол. Видит, человек без

присмотра. Не знает, забыл, что делать ночью, что днем. Дьявол и говорит: «Я тебя научу!»

А человек как младенец: ничего плохого, кроме хорошего, не было еще в его недолгой жизни. Он и согласился. Дьявол быстро научил. Лжи, кровосмесительству, предательству, злему умыслу, подлости, словом, смешал чистую кровь с дерьмом. С тех пор такая и течет в жилах человека. То хорошее победит, то дурное возьмет верх. Дьявол так поделился с создателем: пусть будут твоими все дни и все ночи, но один раз в году он — мой. Страшен этот день! Как над обрывом стоит человек: один шаг — и сорвался. Если одолеет себя, одумается вовремя — станет ему назавтра стыдно. И порадует, что не преступил человеческого в себе. А нет — померкнет для него божий день. Стыд и раскаяние замучают, да что оттого! Содеянного не вернешь. Как загладить поступок, душу спасти? Если пролита кровь — заплатить за нее. Если унижен ближний — прощение вымолить. Искупил, кажется, грехи, очистился, как вновь наступает день дьявола... Так и проходит, дад, жизнь человека. И в радости, и в горе. То его чистую душу охранит господь, то дьявол отспорит...

— Понятно, — сказал я несколько пренебрежительно. — Несчастливым бог создал человека!

— А ты знаешь, что такое несчастье?

— Когда любишь, а тебя обманут! — Что было на уме, то и сорвалось с языка.

— И-и, дад, без любви человеку плохо, это правда. Но есть кое-что больше любви. Чистая совесть! Вот спрошу тебя. Кого считают сильным мужчиной? — Старик спросил, и я сразу почему-то подумал о Маджгане: отомстит не моргнув глазом! — Человек с чистой душой, — повторял Гудиса задумчиво, — это тот человек, который сумеет одолеть дьявола в черный день! Уговаривает тебя, уверяет нечистая сила: если, мол, поступишь по ее совету, так и честь сохранишь. Заманивает, лжет! Сильный человек — кто превыше всего дорожит своей порядочностью.

Гудиса замолчал. Потом встал и направился в шалаш. Я следом поднялся. Сели друг против друга возле очага. Старик бросил в огонь несколько осиновых веток. Я не слишком раздумывал над сказанным, меня как бы и не касалось: сказка, детская сказка. Глядел на огонь, как он скручивает осиновые прутья. Когда старик попросил нарезать, я удивился: с листвой, сырые, не будут гореть. Но он настоял. И вон как горят! Гудиса сидел, освещенный костром, протянув к нему руки, посох торчал между колон. И бормотал едва слышно... Что-то о том, как измучила совесть, весь в грехах, а тот, кто наверху, лишь качает головой: трудился над тобою, делал из тебя человека, ты же в один день все растопчешь...

Вспоминаю сейчас, и мне стыдно, что не слушал, ухом даже не повел. Болтает, дескать, старик! А ведь он заметил, что не находят ответа его слова. В то время они и впрямь были мне не нужны. Мы вышли наружу. В ущелье стоял тяжелый туман. В горах, едва зайдет солнце, становится мрачно, но туман тает с восходом. Старик шептал молитву. Мне показалось, о себе говорит, что это его самого оспаривают друг у друга бог и дьявол... Вокруг было темно, горы слились с небом. Гудиса вздохнул, опустил голову.

В ту ночь он рассказал еще одну историю, начав с того, что безгрешных нет на земле. Но о ней я напишу в другой раз.

Тогда, в гараже, я удержал себя не потому, что вспомнил нравоучения старика. Маджгана дрых, сидя в кабине, спал и сторож. Мне ничего не стоило... Пастух Гудиса был ни при чем. Я еще не видел, чтобы чужой опыт кого-либо чему-нибудь научил. Совсем другое меня держало... Скажешь: как же я, думая всегда только о себе, вспомнил это самое «другое»?

Я так рассуждал: «Алиас, допустим, ты покончишь с Маджганой. Подождешь машину, и никто на свете не узнает, как это случилось. Хотя ерунда — узнают! Зло обязательно когда-нибудь раскроется. Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Но как объяснишь свою подлость? Мол, ненавидел Маджгану, из-за него отобрали машину... Дурацкое оправдание, никто не поверит! Спросят: вы здороваться перестали? Не сидели с тех пор за одним столом? Значит, выложить правду. А утаю — все равно догадаются, кое-кто знал о наших с тобой отношениях... Да зачем и утаивать! В мести надо идти до конца».

Ты знаешь Мери. Она не предаст, не разболтает. И я еще раз говорю: это мое послание, как прочтешь, сразу сожги... как сожгла тот день и ту ночь, о которых сейчас напомним тебе. Может быть, не по-мужски взывать к твоей совести, но у меня ничего нет, кроме того дня и той ночи, и, если я буду знать, что и ты о них не забыла, мне будет легче.

По словам старого пастуха, лишь сутки мы принадлежим дьяволу, а остальное время в году отведено для искупления совершенного зла. Допустим, что оно так и есть. А вот у меня все наоборот. По крайней мере, тогда... Богу я принадлежал один-единственный день... Мы сами, Адица, в тот день были как боги! Мы были вдвоем в доме моих родителей и были убеждены, что он станет и твоим. Так думали и мой отец и моя мать.

Как и сейчас, когда я начал это письмо, эту исповедь, и тогда была осень. Слякотный, холодный ноябрь. Подобно тому как два человека, всю жизнь прожившие рядом, по-разному режут скотину, так и между селом Апсара и морским побережьем, где стоит наш заводошко, разница преогромная. И в климате тоже, хотя друг от друга в каких-нибудь двух десятках километров. Там, в Апсаре, даже люди будто не те. Походка тяжелая, грузная, словно на плечи накинута бурка. Чаше идут дожди. В один из осенних дней, когда воздух делается особенно свеж и пахнет костром и чалом, когда море, кажется, лежит у самых гор, а их ледяные вершины говорят тебе: видишь, какую мы долгую прожили жизнь, как тихо состарились, поседели, — в один из таких дней, под вечер, я вышел за ворота, чтобы встретить стадо. Люблю, если поблизости нет отца, надеть его войлочную сванку и взять в руки посох деда (да будет земля ему пухом). Не потому что отец не разрешает дотрагиваться до чужих вещей. А начинает подкалывать:

— Думаешь, напялил отцовскую шапку, взял дедов посох — и молодец молодцом? Это право надо заслужить!

Так вот, в час, когда в село входит вечер, я, в отцовской сванке и с посохом деда, уверенный, что в отсутствие родителей один смогу управиться со всеми делами, вышел на улицу. А навстречу мне девушка, почти девочка, в голубой косынке. Голова опущена. То ли задумалась, то ли избегает взгляда прохожих. Наш целомудренный и суровый обычай не велит заглядывать в лица. Девушку украшает стыдливая скромность. Мне показалось, что я впервые тебя рассмотрел. И удивился этому. Сколько тебе тогда было? Семнадцать? Когда я родился, моей матери исполнилось столько же... Ты была рослая, стройная. Если больше не подрасту, подумал, она станет выше меня. Я остановился, натянул сванку на глаза и оперся на посох. Так у нас встречают незнакомого человека. Потом ты призналась, что приняла меня за отца, и еще ниже склонила голову, а поравнявшись, тихо

поздоровалась:

— Здравствуйте...

— Добрый вечер, — ответил я, не сдержав смеха. — А что это «вы»? Так со свекром разговаривают.

Ты вспыхнула, подняла недоуменное лицо.

— Это ты?..

— Интересно, куда держите путь? — спросил я. — Одна, на пустой улице! А скоро ночь...

Шутил, а между прочим, действительно очень хотелось знать, куда ты идешь. Злосчастная ревность!

— Так уж, кроме тебя, никого и нет! На randevу... Слышал такое слово? Тайное свидание.

Поддразнивали друг друга, веселились. Так в узких берегах играет, искрится, пенится торопливая горная река. Не знает, что ждет впереди, но море навсегда ее успокоит...

Оставалось шесть месяцев до выстрела, оборвавшего жизнь человека.

Шесть месяцев до позорного изгнания Мсыгуды...

Что нас толкало друг к другу, Адица? Любовь? Не злая ли сила?!

«Ты подожди, я провожу. Вот только загоню скотину. Подожди. Подою, а потом... Отгоню телят от коров, и пойдем куда хочешь...»

Родители ушли в гости с ночевкой. Как я хотел похвастаться перед тобой: видишь, и стадо встречаю, и сам дою, хозяйствую — могу семью содержать!

Мы пришли ко мне. В доме не было камина, огонь разводили в каменном ложе посреди амацурты [5], с потолка свисала очажная цепь. Ты стеснялась и порывалась уйти. А я напускал на себя важный вид:

— Сейчас сварим мамалыгу, поужинаем!

Нет, ты смотри, как я встречаю гостей. Я настоящий хозяин!

— Эй, хозяйюшка, что же ты стоишь без дела? Так ты ухаживаешь за мужем?

И ты радостно приняла игру:

— Сейчас, сейчас! Сварю мамалыгу и накормлю ненасытного мужа.

— А я пока прилягу. Где там подушка? Куда девалась моя старая бурка? Сколько раз говорил, чтобы не трогали мою старую бурку! — кричал я, подражая отцу.

— Вот она, мой господин, твоя бурка!

Бурку я накинул тебе на плечи. Они были одного цвета — твои волосы, брови и эта бурка... Только глаза у тебя были серые. Сияющие твои глаза... Огонь очага играл на твоём лице. Навсегда я запомнил широко раскрытые сияющие глаза и отблески пламени. Боже мой, твержу: было и никогда больше не будет! Эта ночь поделила на до и после нашу любовь, наши с тобой жизни.

— Смотри, Адица, умыкну! Заверну в бурку...

— Куда умыкнешь? Я в твоём доме. А если я тебя? — И надела на меня бурку.

Я сбросил ее, мы сели, обнявшись. И обо всем на свете забыли...

Дрова в очаге прогорели, постепенно слабея, сник и погас огонь.

Еще не рассвело, ты встала и принялась разжигать очаг. Я не оспаривал у тебя этого права — права хозяина. Мне нравилось смотреть на тебя. Что-то говорила, но слова не доходили до сознания. Наверно, и ты не слишком вдумывалась, говорила, чтобы не молчать... Впрочем, кто знает, может, как раз наоборот: взвешивала каждое слово?

— Ни одного горящего уголька, ни искорки! Не к добру, Алиас, когда гаснет очаг, не к добру!

Мне слышалась тревога в твоём голосе. Тревога? Возможно, ты просто шутила. Есть у нас один обычай: первую ночь после свадьбы новобрачные проводят в амацурте, а утром собираются друзья вокруг очажного огня, веселятся, поют. Может быть, ты обычай имела в виду?

Я сказал торжественно:

— Пока, Адица, ты живешь на свете, в моем очаге не погаснет огонь! — Сказал то, что на моем месте сказал бы любой, не придавая словам особого смысла. Ты не любила напыщенных выражений, я знал. Поворошив угли, я развел огонь. Ты смотрела с кушетки, закутавшись в бурку. Я подошел, сжал твои руки:

— Пока ты живешь на свете, мой огонь не погаснет!

Так говорил матери мой отец, произнося тост. И я повторил за ним эти высокие слова. Другие были нужны? Одно-единственное, истинное?.. Что жить без тебя не могу? Прошла наша ночь, вместе встретили солнце — и вот я не могу без тебя, не могу, не могу без тебя! Не сказал. Пи тогда, ни после. Проглотил свой язык... Теперь говори, кричи — не услышишь! От себя не уйти. Я апсарец по месту рождения и духом. Мы, апсарцы, жизнь проживем рядом с человеком и доброго слова ему не скажем, а на поминках вознесем до небес!

Горел огонь посреди амацурты. И он встречал утро. Огонь в нашем очаге...

Мы были уверены: наш! Мы хозяева. Так нас учили: «Счастье человека в его руках». Да как бы не так!..

Шел по дороге человек, нес на плече острый топор. Увидел дерево и от нечего делать всадил в него свой топор по самый обух. Вот сколько во мне силы и удали! Вскинул топор на плечо и пошел дальше.

Ты удивишься, Адица, но причина нашей разлуки...

...Прости, приходил следователь по делу Фрица. Серый строгий плащ, очки, папка под мышкой.

Ему понадобилось еще что-то выяснить. Спрашивал — я отвечал. Потом расписался внизу каждого листка. Поговорил следователь и с рабочими. Потом, как всегда, завернул в партком.

Так вот о причине нашей с тобой разлуки. Я много думал об этом.

Маджгана ли во всем виноват? Почему ты, говорил я себе, забыл про мать Адицы — Мсыгуду? Случалось, ночи напролет проводил за тягучими размышлениями, вставал ни свет ни заря, шел в гараж. Там у меня в шкафу всегда вино или водка... Дай ей бог здоровья, продавщица отпускала в долг. Не думай, что я места себе не находил, стгорая от неразделенной любви. Нет. И по-прежнему любил тебя, но уже другими глазами смотрел на мир.

Было далеко до рассвета, я брел не спеша по дороге. Поглядишь в небо, которое пересекает Млечный Путь, и кажется, сам идешь по такому же, только он проложен по земле... Спустишься по склону, звездное небо собирается в узкую полосу, а поднимешься на всхолмок — ты единственный властелин мироздания. На юге спокойно лежит море, на севере вздымаются темные горы.

Дорога вела через кладбище. Летом чужой человек, проходя мимо, и не заметит: все заросло колючкой ежевики, папоротником.

Мы от многих обычаев отмахнулись, считая пережитками. Погосты точно в забросе, порой и не найти. Может, потому что привыкли скрывать свою печаль, как и радость, не хотели, чтобы горе омрачало человеческую душу. Теперь сердца окаменели, хороним прямо у большой дороги. А то и во дворе. Гость сникнет, войдя в ворота. Хозяин встанет утром с улыбкой, глянет с веранды на двор: перед глазами мрачнеет могила... Какое нужно сердце! Нет, не так глупы были наши предки, хоронившие в удаленных местах. Хочешь навестить прах усопшего — собирайся в путь!

Лето было на исходе. Еще стоял папоротник, зеленый, густой, охраняя поля от пыли и ветров. И такой высокий, что, пожалуй, с дороги только всадник разглядит могилы. Я шел мимо и не думал об умерших, похороненных здесь. Ни о дедушке с бабушкой, ни о дяде, скончавшемся от ран через год после войны, ни об отце Мирона Апте. Ни об Арутане, которого зарыли где-то рядом... Низко склонилась к морю ущербная луна, из-за гор ширилось бледное еще сияние восходящего солнца. Если мы, апсарцы, не в силах перемениться к лучшему, думалось мне, так пусть будем такими, какие есть, лишь бы с нами остались эти горы, это море и эта сельская пыльная дорога, которую порой браним. И память о прошлом... А ведь и до сих пор не найдены родники, заваленные махаджирами-апсарцами, которые навеки покидали свой кров и родную землю.

Проходя кладбище, я заметил на краю дороги легковую машину. Задняя дверца была открыта. Я заглянул внутрь. На сиденье в неудобной позе лежал сухонький старичок. «Что это в такую рань?» — подумал я. И стало не по себе, когда всмотрелся. Уж не помер

ли? Нет, старик спал, тихо посапывая. У него были странные усы — изогнутые, словно козлиные рога. У Гудисы тоже были на удивление: когда наклонялся, то усы придерживал рукой.

Я разбудил старика.

— А? Едем-едем, сейчас, — забормотал он, протирая глаза.

— Что вы тут делаете?

Старичок вылез на дорогу, стал хлопать себя по бокам, согреваясь со сна.

— Попросила, я привез, — смущенно сказал он, кивнув в сторону кладбища. — Она мне никто, просто по соседству снимает комнату. Сказала, заплатит, сколько запрошу... Только чтоб до рассвета.

Он все хлопал и хлопал себя по бокам и плечам, будто по нему ползали муравьи.

Я перепрыгнул канаву и, раздвинув папоротники, увидел женщину. Стояла, склонившись у могилы.

— А почему ночью? — спросил я. — Кто она?

— Откуда мне знать! Попросила — привез. И чтоб никто не видел...

Я, может, ушел бы, так ничего и не узнав. Не вспомнил бы и про обычай: увидишь незнакомого у могилы, подойди и поклонись праху, раздели скорбь с этим человеком. Старик же сказал:

— Как вы, абхазцы, поступаете! Не прощаете кровосмесительства и попранной чести ни живому ни мертвому. Недостойного лежать в земле — выбрасываете из могилы... Уважаете свою землю! Клянусь, эта женщина мне посторонний человек, ничего общего между нами...

Светало. Поднялся туман.

Я не помнил, кто там похоронен — там, где стояла женщина. Отец Мирона Апта, чьим именем мы, апсарцы, гордимся? Но мать Мирона совсем не похожа на эту женщину. Да и зачем ей скрываться?.. Так неужели Арутан? Сколько было споров, когда его хоронили! Наверняка это одна из сестер... Говорят, ни разу не видели их возле могилы. Даже траура не носили, не оплакали. Тайком ходят на кладбище... Но могла быть и ты, Адица. Я присутствовал на похоронах Арутана, пришел из-за Мирона, чтобы удержать от неразумного поступка. Он кричал: «Все равно вырою! Чтоб лежал рядом с моим отцом?..» Старики успокаивали: «Зарыли как собаку... Наняли каких-то бродяг, те и выкопали могилу. Никто из нас не взялся за лопату... Завернули в старую бурку и забросали землей. Изменника хуже не похоронят! Даже палку не воткнули в изголовье. И не огородили. Собаки будут справлять нужду, свиньи разроют... Зарастет травой и с землей сровняется».

А сейчас, при свете утра, я увидел, что могила ухожена, черный камень, золотом выведено имя. Обнесена железной оградой, выкрашенной серебристой краской. Просторно, оставлено место и для близких. Куда там могиле Апты!

Внутри ограды — мраморный столик. Кувшин, ваза с цветами, стаканы... Придут, помянут, обмакнув кусок хлеба в вино... (Позже я узнала, что был день рождения Арутана.)

Когда женщина подняла голову, я разглядел ее лицо. Сердце замерло, будто меня застали на месте преступления. Это была твоя мать, Адица! На могиле Арутана, убитого твоим родным братом, ее сыном. Мсыгуда, которая сделала нас обоих несчастными, женщина без стыда и чести, от которой отказались собственные дети, а саму изгнали из села...

В то лето, когда я ушел с Гудисой в горы, много было среди апсарцев разговоров о вашем семействе. Пришли люди из села, принесли муки, соли, других припасов. И конечно, апсарские новости. Мне бы тогда встать и уйти, но боялся этим выдать себя. Поневолу слушал.

— Жаль Арсану! — сказал один о твоём отце. — Такого мужчину опозорила, умереть ей страшной смертью!

Другой возразил: пока такие есть, как Бадз, жива совесть апсарцев.

— А дочь-то ее какова! Отреклась от матери... Иди, говорит, куда хочешь.

— По совести поступила. Но за одно я бы ее осудил: тут же и замуж! Нехорошо.

Я насторожился:

— Удивляюсь, Маджгана был наготове, что ли?

— А чего вдовцу не жениться на такой красотке? Сорвалась звездочка с неба и залетела за пазуху...

— Наверно, и до этого поглядывали друг на друга.

— Скажешь! Станет такая только вздыхать и поглядывать... Что она, не дочь своей матери? Платье дочери из материнского подола!

Гудиса покосился на меня. Но ни слова не сказал. Я тоже молчал, будто вовсе тебя не знаю. Не провели вместе ночь, не встречали рассвет в амацурте...

Кто-то пожалел покойного Арутана:

— Ну, открылась их связь с Мсыгудой... Взять бы ей и уйти! Человек бы жил до сего дня.

И тут Гудиса вмешался. Сидел слушал, опустив голову, и вдруг с силой вонзил посох в землю.

— Судите о том, чего не знаете! А разобраться и понять — ума жалко... Прогнали Мсыгуду, убили Арутана. А мы сами-то, апсарцы, кто такие? Все у нас по совести? Ни на кого зла не держим? Сидим болтаем, потому что другого дела нет... Не знаю, слышали, нет, — расскажу историю. Люди, считавшие себя порядочными, чистыми, возмутились поведением одной женщины и потащили на суд к создателю, чтоб покарал ее за измену. И создатель сказал: «Пусть один из вас, не совершивший греха, бросит камень в нее!» И

ничья рука не поднялась... Оставили грешницу и разошлись по домам. Не буду учить вас уму-разуму, но если праведника отыщете, то поставьте ему памятник при жизни.

Совість, добро, сострадание... Есть ли человек, который не знает, что такое жалость? Это как инстинкт самосохранения, знакомый и зверю. И во мне шевельнулось что-то похожее на сострадание к этой женщине, когда она, укрыв лицо платком, в черном платье до пят, выбирала травинки с могильного холмика, точно малое дитя здесь похоронено...

Я отвернулся.

Словно боясь, что угонят, старик стоял возле машины, держась за дверцу.

— Ты здешний? — спросил он.

Я посмотрел на него исподлобья. «Если привез, одного поля ягоды!» Ненависть к Мсыгуде я перенес на старика.

— Такие, как ты, и разжигают вражду... Зачем сюда прикатил?

Старик съежился, втянул голову в плечи.

— Просит — я привожу, отвожу...

— И часто?

— Один раз под утро, другой ночью... Сядет на заднее сиденье, плачет, да тихо так. Спросил ее: к мужу, брату едешь? Ни слова не сказала.

— К любовнику! Из-за нее убили.

— Вон что! Не знал... Любовь! Убили б меня из-за такой женщины, считал бы себя в раю. Хоть и в возрасте, но красива... Сидит сзади, а у меня мурашки по спине, у старика-то! — И засмеялся, качая головой и шурясь мечтательно.

— Ты бы полапал ее, не откажет!

— Злой ты какой...

— Злой, говоришь?

— Так о женщине не подобает мужчине... Сами же вы, абхазцы, говорите, что хорошая собака не залает на женщину.

— Она не женщина!

Старик наморщил губы.

— Убитый тебе кто? Отец, брат?

Я едва не заорал прямо в лицо этому хилеку: «Недоумок! Лучше бы заткнулся! Эту женщину я уважал и любил, как родную мать, при встрече язык проглатывал от

волнения... А ее дочь была моей невестой!» И сам заткнулся — задушил в себе отчаянный выкрик. Вспомнил как-то сказанное отцом: «Кроме нашей Апсны, в целом свете нет больше такой страны, где рядом бы хоронили ангела с дьяволом. Прав Мирон, надо было выбросить нечестивца!» Но не то страшно, Адица, что ангела с дьяволом хоронят чуть ли не в одной могиле, а то, что при жизни они целуются, как родные! Кто из них лицемер?

— Я с нее не беру денег, — сказал старик. — Из большого уважения. В молодости, наверно, была очень красива... Познакомлю со своей старухой — пусть узнает, что такое любовь. У меня тоже есть дочери, внуки... Ах, какая любовь! А сколько ей?

— Сорок семь, три месяца и три дня! — крикнул я. Хотел уйти, но что-то удерживало. Да не что-то, а злоба. «Три месяца и три дня». Что я хотел сказать, прибавив от себя дурацких три дня и три месяца? У апсарцев ум и сердце не в ладу. И, оставив всякую сдержанность, торопливо заговорил, меня понесло: — Хочешь ее биографию? В тридцать девятом вышла замуж. Учась в институте. Замуж выскочила неожиданно, никто ничего не знал до последнего дня. Точно так же поступила ее дочь. Есть что-то такое в их роду... Муж, Арсана, был намного старше.

— Он жив?

— Инвалид. Дома сидит. Еще рассказать? В сороковом году родился сын. Сейчас он в тюрьме. Он и застрелил любовника матери. Через три года, в сорок третьем, появилась дочь, зовут Адицей. Еще? Скажу еще: если когда-нибудь увижу вас здесь, останешься без ног! Понял меня?

— Не знал, что вы такие звери. А то стороной объезжал бы эту Апсару.

— Звери не звери, не твоего ума дело. Денег с нее не берешь... Кто тебе поверит? Богатеешь на чужом несчастье!

— Ты или кем-то обижен и не знаешь, на ком зло выместить, или родился таким, — надулся старик. — Сказал же тебе: не беру. Ты как не слышал. Не беру с нее денег! Любовь уважаю.

«Действительно, — подумал я, — не сладивши с конем, исхлестал плеткой седло. Чего накинулся на старика?» Я извинился.

— Живу в Сухуми возле Красного моста, — смягчился и он. — Дом на берегу Беслетки. Расспроси соседей, о ней скажут много хорошего. Такая женщина!

Прямо как о близкой родственнице заговорил, даже голос дрожит. И усы торчком! Мог ли я тогда знать, что сказанное стариком впоследствии здорово мне пригодится...

— В книгах читал про любовь и думал: вранье. В жизни не встречал. А теперь своими глазами увидел... Ее окно выходит в небольшой дворик. Привезла ограду для могилы, сама выкрасила под серебро. Моя старуха спросила: для кого так старается? Для себя, отвечает. Мы посмеялись: шутит. Днем на работе, а по ночам шьет на продажу. Что заработает — все на могилу тратит. Вот любовь!.. С тех пор как он умер...

— Как убили, — поправил я. — Умер бы в заключении, ему бы лучше...

— Он сидел? Если и после смерти забыть не может, то уж как ждала из тюрьмы-то! А

говорят, настоящая любовь только в старину была...

— Дня не ждала! — я так сказал. Чтоб не очень-то нахваливал старик. Откуда мне было знать, что попал в точку? Вон надгробье над могилой Апты, видно с дороги... Мирон подновил надпись. Дата гибели 1939 год. В том же году, рассказывают, ограбили колхозную кассу и подожгли сельсовет. А когда Мсыгуда вышла замуж? В том же, тридцать девятом. Что получается? Все за одно лето: ограбили кассу и спалили сельсовет, в горах погиб Апта, посадили Арутана и, наконец, Мсыгуда, дня не погоревав о возлюбленном, вышла замуж... Есть тут какая-нибудь связь? Да и случайно ли погиб отец Мирона? Гудиса говорит, что вместе пасли. Стадо ушло к леднику, опасное дело... Апта побежал заворачивать, ему кричали, чтоб вернулся, не послушал. Неделю искали труп...

Сухумский старик снова что-то забормотал, будто к самому себе обращаясь.

— Она и ползком сюда приползет, — разобрал я. — Посадили... А вернулся — еще сильнее полюбила...

— Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним! — продекламировал я. Пусть этот пень выдумывает что хочет. Какое вообще мне до него дело! Я встал у обочины, решив дождаться Мсыгуду. Все выскажу... Как она обманула меня. Словами, улыбками... Предала! Правильно сделала Адица, когда сказала: ты мне не мать! И я найду, что сказать. Столько накопилось на сердце!.. Лишь бы взять себя в руки, не сплеховать. Знаю: в последний момент чего-то вдруг устыжусь и сникну. Не раз так бывало. А теперь конечно, хватит!

Она пройдет по этой тропе, другой нет. Лицом к лицу столкнемся... Я сложил руки на груди и расставил ноги. Такая внушительная поза, вызывающая.

Солнце уже поднялось из-за гор. Роса подсохла, и в воздухе расходился тонкий утренний пар.

Она повесила на железную калитку замок и направилась к дороге.

Пройдет мимо — плюну ей под ноги. Буду смотреть прямо в лицо. Пусть знает: я один из тех, кто выдворил ее вон из села!

Делает вид, что не замечает?

Нет, подняла голову. В глазах ни страха, ни удивления... Но это была ты, Адица! Я даже попятился... Показалось? Но ведь точно — ты, твои глаза! Я и представить не мог, что у тебя и у матери твоей совершенно одинаковые глаза. И глаза, и взгляд! Прости, что говорю о ней и о тебе вместе... Но если бы дьявол хоть однажды не прикинулся ангелом, молния сразила бы его!

Знаешь, ей было все равно — держу я цветы или прячу за спиной топор.

— Ради твоей матери, — проговорила она очень тихо, — прости меня...

— Моей матери? Но она... — И запутался.

— Бог свидетель, как я хотела, чтобы ты и моя дочь были счастливы! Но к моему несчастью прибавилось и ваше... Ты виноват.

Я совсем растерялся:

— Виноват?..

— Но будь все-таки счастлив.

Она ласково обвела рукой вокруг моей головы — как прежде, когда встречала меня в своем доме. Жест, принятый среди абхазских женщин, означающий дружелюбие и пожелание счастья...

Старик, склонившись перед ней, как перед княгиней, распахнул дверцу машины.

И уехала!

Я не мог сообразить, что произошло. Тупо стоял с опущенными руками. И тут явственно услышал: «Эгоист!» Ты часто меня так называла, теперь-то понимаю, вовсе не в шутку.

— Горячишься, ревнуешь! Потому что ты эгоист.

— Не хочу, чтоб другие заглядывались.

— Посмотрит кто — и я побегу за ним?

— Если по любви, выходи за кого хочешь. Но если силой уведут...

— Силой никто меня не заставит.

— Еще как! Закутают в бурку и — поперек седла. Даже проще. Посадят в машину и одна ночь все решит.

— Не то что ночь, год будут держать взаперти — кто мне не мил, ничего не добьется.

— А это разве не эгоизм? Человек мучается, страдает — тебе же все равно...

Милые взаимные укоры!

Каждый из нас не был сам по себе, ни у меня, ни у тебя уже не оставалось свободного выбора... Но ты его все-таки сделала. Легко или с сомнениями тяжелыми, со слезами — какая теперь разница! Моя мать сказала: «Чего ждать от дочери Мсыгуды!»

И я вспоминаю балагура из села Апсара, прозванного Чокнутым.

Когда с рюкзаком за спиной и Дамшем в плетеной корзинке я вышел к автобусной остановке, то в толпе стариков сразу увидел этого Чокнутого. Что-то рассказывал, бурно жестикулировал. Топал ногами, всходил глаза к небу... Жил он, слава тебе господи, не хуже других. Во дворе козы, несколько коров, буйволы... Продай хотя бы одну из коров и оденься по-человечески! Нет, это ему незачем, одет — бедней не встретишь. Полы черески изодраны, будто собаки гнались, заплатка на заплате, ноги в обмотках, концы вылинявшего башлыка обрезаны. Возрастом хоть и не старше многих — к примеру, моего отца, — а выглядит дед дедом, бородища от самых глаз, волосы ниже плеч, как у попа. Даже с Гудисой здороваается, как с младшим: «Здравствуй, дад Гудиса!»

Как-то сказал: «Облик человека должен соответствовать уму». Под «обликом» он разумел одежду.

Чокнутый посмотрел на меня из-под ладони:

— Радуйтесь, еще один дурак! Встречайте!

Если б обиделся, действительно был бы дурак. Я засмеялся вместе со стариками.

— Все в мире, дад, шиворот-навыворот, — продолжал Чокнутый. — И у вас, апсарцы, то же самое в головах.

Кто-то спросил:

— А ты не апсарец, пропади ты пропадом:

— Не спеши. Не сравнивай орла с вороной. Пусть я среди вас. Как говорится, с волками живешь, по-волчьи и воешь. Ночь для вас ясный день, день — темная ночь. Один я нормальный. Да что вы — вся природа пошла наперекосяк!

И зорко огляделся, ожидая возражений.

А попробуй возрази! Такое прозвище выдаст, что не только ты, внуки с ним будут ходить.

— О сидящий на облаках! — воздел он руки. — Насмехаешься? Погляди на этих дураков и скажи им, что не я, а они чокнутые, все у них не так, а этак. Смеются, когда надо плакать. Радуются, когда горе кругом. Зло для них добро, а добро — зло. Все сикось-накось!

— Бревна не видит в своем глазу, несчастный!

— Это я? Да я посланник божий — мозги вам вправить. Вот ты, — ткнул он пальцем в старика, всеми почитаемого: он умел заговором заживлять переломы.

Старик бровью не повел. Сидел себе невозмутимо, полный достоинства.

— Он кто? Самый лучший из вас?

— Таким мы его знаем...

— Они знают! Как-то на днях во время застолья этот наш мудрейший был тамадой, и я ждал, что ты ответишь, когда он поднимет тост за тебя. Он сказал, ты могуч как дуб. И подобен скале...

— Правильно, если по достоинству.

— Выходит, хвалу тебе воздал? Похвалил и сам получил большое удовольствие. Вот давайте срубим десяток дубов и столько же буков, ольховых деревьев. И посмотрим, в которых пустое нутро. Нет более дуплистого дерева, чем дуб! А если б сказал, что ты похож на бук, ты бы обиделся. Дескать, малахольный, недокормыш. У бука-то кора бледненькая!

— А скала чем тебе плоха?

— Еще хуже. Сто лет проживет, всех перестоит? А ты подведи ручеек под скалу и увидишь, кто кого. Но попробуй скажи апсарцу, что он- могуч, как ручей. Голову снесет! О господи, и зачем ты меня сотворил нормальным?

Чокнутый уставился в небо, задрал бороду. Я видел, как дрожит его кадыкастое горло. Чокнутый шумно сглотнул слюну и затараторил:

— Посмотрите на парящего орла! Вы, апсарцы, с вывихнутыми мозгами... Завидуете этой царственной птице? Смотрите, смотрите! — Вдруг прижал бороду к груди и исподлобья пристальным взглядом обвел лица односельчан:— В своих гостах превозносите орла?

— А как же! О зорком говорят: глаз как у орла.

— Нет высшей похвалы тому, о ком скажут, что у него орлиное сердце!

Чокнутый горько покачал головой.

— Глаз как у орла... Верно, у орла острое зрение. А для чего? Чтобы высматривать добычу! Пролить кровь! А если с квочкой вас сравнить? Кинжал выхватите, оскорбитесь: значит, и слеп как курица, и туп как курица, и труслив как курица! А без курицы жизни вам нету... Придет гость — чем накормить? Курицу поджарите! Восхваляете убийцу-орла и пренебрегаете домашней птицей-кормилицей... Воистину, не все в порядке в ваших головах! Зло превозносите, добра не замечаете. И вот когда вы хвалите меня — я печалюсь, когда хааете — ликую!

Старики смеялись, слушая Чокнутого. Вместе с ними смеялся и я...

До сих пор в ушах смех моих односельчан.

Когда думаю об оставленной Апсаре, то вспоминаю шутки Чокнутого. Иногда они смешат, потешают, а иногда заставляют задуматься. Лживы наши понятия, все с ног на голову?... Неправедны умом? Может быть, и сердцем? Может, мы совсем не знаем себя? Привыкли о себе думать одно, а на самом деле — совершенно другие? Рассказав мне о гибели Апты, старик Гудиса прибавил с сомнением: «Зачем знать правду? Погиб как герой. Пусть так и будет. Пусть таким останется в нашей памяти». Что хотел этим сказать? Когда спрашиваю себя: сказать или промолчать, — я вижу, что нерешительности моей, как и словам, одна цена. Так уж лучше сказать!

Кто первый поднял камень и бросил в Мсыгуду? Хотел бы я увидеть этого праведника! И в молоко попадает соринка. Есть ли такой путник, что ни разу не споткнулся на дороге?

Однажды ребята из гаража купили несколько бутылок, закуску. Сидим выпиваем, разговариваем.

— Прошу в моем присутствии ни слова о ней, — сказал твой муж Маджгана. Он имел в виду тещу. — Ее дочь тоже слышать не хочет. У меня как-то вырвалось, что она очень похожа на мать... Что было! Чуть не ушла. Я-то, конечно, о внешности... Помните, как у

нартов? Один упрекнул молодую беременную женщину из племени ацан, что в ее жилах течет жалкая кровь, она вспорола себе живот, выбросила ребенка и убежала в горы... Вот и Адица такая.

— Внешность внешностью, а главное совесть, — сгладил кто-то из ребят. — К примеру, мой сосед. Сдвинет челку направо — ну вылитый Гитлер. А он, когда режут курицу, не может смотреть, отворачивается.

Я не ввязывался в разговор. И слава богу. Трудно бросить обвинение, бросить камень... Того гляди, в собственную голову угодит! Можно, конечно, стерпеть, если по делу. Что, как говорится, посеешь, то и пожнешь. Тяжелее другое. Скажу, что имею в виду. Не бродила бы курица по улице — жива бы осталась... Я сам на себя накликал беду. Ведь кто тебя познакомил с Маджганой? Это было еще в девятом классе, вместе возвращались после уроков. Как всегда, отстали от всех, ты несла портфель то на голове, то зажимала под мышкой... Сзади на заснеженную дорогу выехала полуторка. Я сразу узнал машину, на которой ездил Маджгана. Тогда в нашем селе шоферы пользовались таким же уважением, как сейчас космонавты. Мне захотелось похвастаться перед тобой своим знакомством.

— Это Маджгана! — сказал я. — Несколько раз бывал у нас дома. И руль мне давал подержать.

Маджгана, высунувшись из кабины, позвал:

— Садись, подвезу.

— Я не один...

— Вижу. Красивая девушка! — И настежь открыл дверцу. — Приглашаю!

Как бабочка, летящая на огонек, ты вспорхнула на подножку и уселась рядом с Маджганой. Я примостился с краю...

...Съев абрикос, прохожий выплюнул косточку. А много лет спустя привелось брести той же дорогой. Палка в руке, спину не распрямить: жизнь согнула. Эй, путник, взгляни, какие плоды на ветках, зрелые, сочные! Сорви любой... Старик не может и головы поднять. Забыл, как выплюнул косточку, забыл свое далекое легкое время. А из той косточки выросло плодоносное дерево при дороге...

Мелькнуло у меня опасение, что напрасно я посадил тебя в кабину. Раза два, может случайно, Маджгана коснулся локтем твоей груди. Ты сидела ни жива ни мертва.

— Кто эта девушка, чья дочь, Алиас? — спросил Маджгана, весело косясь на тебя.

Я ответил. И Маджгана на правах взрослого человека заговорил о том, как быстро растут дети, не успеешь оглянуться — пора женить, замуж выдавать.

— Помню свадьбу твоего отца Арсаны! Давно ли было! — Маджгана сокрушенно и радостно качал головой.

Сжав зубы, я смотрел на его локоть. Но когда Маджгана намекнул на свой возраст, я остыл, успокоился.

— Охотники знают, — продолжал он, обращаясь к тебе, — что в ущелье позади вашего дома, где каштаны, с предгорий спускаются дикие кабаны. Арсана первый выходил с ружьем. Сейчас уже не ходит, годы не те... Всегда его вспоминаю, когда там охочусь.

Ты отодвигалась, жалась ко мне. И хотя нам было ехать и ехать, я настоял, чтоб Маджгана остановил машину. Мы спрыгнули на дорогу. На прощание Маджгана сказал — и ты вряд ли забыла:

— Счастлив будет тот, кто женится на такой красавице!

Конечно же помнишь! Женщины такое не забывают.

По моему лицу ты все поняла. Передернула плечами:

— Ты эгоист, Алиас. Да-да, эгоист!

Я промолчал. А когда машина скрылась в снежной пыли, сказал, решив обратить в шутку:

— Если я эгоист, то ты тоже не Сатаней Гуаша [6]. Той ничего не стоило заполучить любого мужчину.

— А у него приятная улыбка! — Тебе хотелось помучить меня.

— Жена еще приятней. А дочери просто красавицы! В мать.

Ни дочерей, ни жены Маджганы я в глаза не видал. Знал со слов отца, он упоминал о них в тосте, когда заходил Маджгана. А недавно подумал: действительно, чем-то ты напоминаешь Сатаней. Недаром говорят, что Маджгана под каблучком у молодой жены. Не хочу бросить тень на вашу семью: знаю, что так и есть. Ты виновата. Ты... И он, конечно. Помню, как оскорбилась: я потребовал, чтоб больше не садилась в его машину. Тебе показалось, что связываю твою свободу. Гордецу — все враги. Ограничивая твою свободу, боясь, что потеряю тебя, я, глупец, лишь ускорял наш разрыв. Чем крепче виноградное сусли, тем скорей разорвет бочку...

Внешностью в мать, душой — Сатаней Гуаша...

Одну притчу рассказал мне старый Гудиса. О матери и дочери. Я догадывался, кого он имел в виду: Мсыгуду. Ты ведь знаешь апсарцев. Говорят о быке, а разумеют корову...

Но черт побрал бы этого Дамша! Столько из-за пса неприятностей.

К моей сожительнице иногда заходит мужчина, человек семейный. «Бывший друг», так сказать... Придет, посидит и уйдет. Мне не мешает. А Дамш возненавидел, бросается с остервенением — словно волка почуял.

— Этот человек был до тебя, заходил, как домой.

Хозяйка поставила мне ультиматум:

— Если ты и твоя собака его обидите, оба вылетите отсюда!

Действительно, кто мы такие? Приживальщики. Надо тихо себя вести. Но вместо благодарности за угол и то, что кормят, Дамш свою ненависть к «другу» перенес на хозяйку. Что меня ожидало, сама понимаешь. Среди прочих ее достоинств на первое место я бы поставил гостеприимство. Кто бы ни пришел — не успеешь оглянуться, стол уже накрыт. Готовит отменно, и чего только нет в холодильнике! Шеф-повар в детском саду. Все бы хорошо, но мамалыги ни разу не видел. Забыла, как к ней и подступиться. День-другой я могу вытерпеть, а на третий сам не свой, бегаю по знакомым: где бы отведать. Как пьянице — опохмелиться. Спросил: почему в детском саду не готовят мамалыги, что тут зазорного? Фыркнула в ответ. Дескать, дети на государственном обеспечении и поэтому едят государственную пищу. Пришлось самому варить мамалыгу...

— Зачем покупать? Нам свою кукурузу девать некуда, — сказал отец перед моим отъездом и насыпал целый мешок. В початках. Мать хотела, чтоб дома полушили, но я люблю сам — приятное занятие!

Привез, поставил мешок на веранде. Дамш сразу учуял, заерзал. Потом бросился мне на грудь, лизнул в лицо. Я приласкал его, ушел на работу.

А вернувшись, застал настоящую битву. В углу веранды Дамш с оскаленной пастью, хозяйка орет, в руках швабра, тычет в собаку. Мешок разорван, и по всей веранде раскиданы кукурузные початки. Дамша проделка!

Я схватил пса за ошейник и потащил к двери.

— И ты, и твоя собака — из одного дерьма! — крикнула хозяйка вслед.

Мы сидели с Петровичем во дворе, разговаривали, и, когда замолкали, я снова и снова вспоминал старого Гудису, его грустные притчи... Как я тогда, в горах, ненавидел все, что связано с твоей матерью, ненавидел тебя! «Платье дочери из материнского подола...» Гудиса хорошо понимал мое состояние и однажды сказал: все мы в чем-нибудь не правы, но и на болоте порой вырастают прекрасные цветы.

— Нельзя о дочери судить по ее матери, — сказал он. — Вот один поехал с друзьями сватать девушку. Хозяева встретили с уважением, накрыли стол. Шутки, смех. Юноша вышел на веранду и засмотрелся на сад. «Нравится? — подойдя, спросила дочь хозяина. — Яблоки уже созрели». — «Красавица, — важно ответил гость, — я смотрю не на яблони. Вон в саду привязана моя лошадь. Удивительный нрав был у ее матери. Залезет на дерево и жует листву... Жду, сделает ли так и моя лошадка?» Мать девушки слыла легкомысленной женщиной, но дочь была рассудительна. Сразу смекнула, к чему клонит гость, и ответила: «Если мать лазила по деревьям, то посиди здесь и подожди, может, и твоя добрая лошадка полезет».

Будь парень поумней, не принял бы всерьез ее слов. Потом так и не женился. А она... Я один из ее внуков, кто с честью проводил ее в последний путь.

Не выходит у меня из головы встреча с твоей матерью утром на кладбище, помню ее слова. И на мне лежит вина в том, что расстались? Пожелала мне счастья... Но в чем же я виноват?

Ухоженная, огороженная могила... Приезжает, ни страха, ни стыда... Только из-за любви к Арутану? Прошло время, когда я болтал, что ничего нет выше этого чувства и нет ничего страшней смерти. Ерунда! Не дай ее бог раньше времени, но кое-что есть и пострашнее. Кого больше пожалеть — покойного Арутана или Мсыгуду? Живет ли она на белом свете?.. Не думай, что притупилась моя неприязнь! Не то что простить — еще больше озлобился.

Не раскаявшейся я увидел ее тогда, не сожалеющей, а, напротив, утвердившейся в обдуманном зле. Что сказать глупцу, который совершил бесчестный поступок? Не поймет. Другое дело, когда это человек, с умом рассчитывающий каждый свой шаг.

Узнав, что Мсыгуда дерзко пошла наперекор селу, опасаясь нового убийства, собрался издавна существующий у нас совет старейшин. В него входит и мой отец. В двусмысленное положение он попал... Своим высшим долгом почитал не допускать кровопролития. Но для этого должен был переступить через дружеское, братское чувство к опозоренному Арсане.

— В старину мстили за друга. Друг считался родней брата, — сказал отец моей матери, и я заметил, как изменилось ее лицо: знала, слова мужа не расходятся с делом. — Пусть через женщин, которых мы послали, Мсыгуда передала бы, что раскаялась. Но какова! Мы вовсе не знали ее!

— Больше себя уважали, — подтвердила мать. — А не забыл, что сказал Арсане, когда тот ее привез?

— Разве он послушался бы! Был без ума от нее...

— Да, это сейчас о ней говорят одно худое.

— Вышла за него... Но как! Не понимаю, почему вдруг решилась?..

Я слушал отца и вспоминал разговоры пастухов, коротавших в горах у костра вечернее время. Говорили о Мсыгуде. Кто-то сравнивал ее с деревом, обожженным грозой: обуглилась кора, а сердцевина цела. «Посмотришь на ее осанку и не скажешь, что перенесла позор. В голову не придет!» — «Не заглядывайся на чужих... Муж ее, Арсана, инвалидом вернулся с войны, без ноги. Конечно, нехорошо говорить насчет него, но ведь и до войны, если по совести, разве он подходил Мсыгуде? Что лицом, что мужской статью — так себе. И намного старше... Это правда, что человек раз в году сходит с ума. Не сейчас она помешалась, когда спуталась с Арутаном, а когда выходила за Арсану!» — «А вы когда-нибудь слышали, чтобы говорили: жена Арсаны? Нет! Муж Мсыгуды! Только так. Но ладно, Арсана не из видных мужчин. А кого она выбрала себе в любовники! Ведь говоришь с ним — тошнит, рукой прикрываешься. Зубы гнилые... А морда? Как из коптильни вылез!»

Говорят, красивая женщина, чтобы властвовать в семье безраздельно, выбирает самого неказистого мужчину.

Гудиса толкует о божестве и дьяволе, об одних сутках в году, отданных дьяволу... Хороший человек однажды поступит против совести и разума. А плохой? Весь год во власти нечистого, грешит, прелюбодействует, лжет... И вот лишь на короткие сутки душу его посетит бог, заставит совершить добро. Оно покроет грехи, и скажут про злого человека:

что ж, он порой дурно поступал, но и на солнце есть пятна!

Изменился человек, так все в нем перепутано, что сам создатель не узнаёт и отворачивается. Вырубает леса, оскверняет реки, предаёт ближнего. Что с нами стряслось?

Я долго рассматривал фотографию Бадза, осужденного за убийство. Другими не были, но знали друг друга с детства. «Знали!» Лишь сейчас стало известно, что Бадз закончил Сухумский индустриальный техникум... В школе был тихоней, всегда в тени. А в футбол прекрасно играл, не догнать. Помню, как он стоял в воротах! Ловок и бесстрашен был этот тихоня... В то время в школе не было электрического звонка, на веранде висел колокол, принесенный из церкви, разрушенной в двадцатых годах. Перед концом урока на веранду выходил учитель или директор и объявляли, что пора звонить на перемену. Мы ссорились, оспаривая друг у друга право дернуть за веревку. Однажды, когда звонил Бадз, колокол сорвался и, грохнувшись о перила веранды, скатился наземь. Выбежал директор:

— Это историческая реликвия! Знаете, сколько ему лет?.. Кто сорвал?

Бадз опустил голову:

— Я. Случайно получилось. Я не хотел...

Что-нибудь говорит этот поступок о характере? Тихий мальчик, ни разу не участвовавший в ребячьих проделках (в драках — тем более, трусом считали), признался и бровью не поведя: виноват.

Как бы он поступил с Фрицем на моем месте? А если бы увели невесту? Наверно, не мучил бы себя. Нашел бы выход. Передал бы обидчику: как невесту увел, так и приведи. А нет — отбил бы силой. Даже рискуя жизнью...

Ты ведь знаешь, Адица, дважды он просил Арутана покинуть село. Знаешь и то, чем это кончилось.

На фотографии Бадз невозмутим, взгляд открытый, прямой: «Не тронь, и я тебя не трону». На следствии показывал, где стоял, откуда стрелял...

Вот слова одного из свидетелей — продавщицы:

— Арутан купил сигареты, кто-то подошел к нему, не помню кто, и что-то сказал. Арутан так и застыл на месте. Я выглянула в окно и увидела Бадза: стоит у ворот, руки в карманах... Мы знали, что они враги, и предложили Арутану спрятаться в складском помещении. Он немного помялся, потом зажег сигарету и вышел из магазина. До конца двора уже не дошел...

Мог бы действительно спрятаться. А уж если вышел — почему не побежал? Нет, даже шагу не прибавил... Что тут сказать?

Есть еще фотография Бадза. Стоит с мотком электропровода, в руках «кошки» для лазания на столбы. Сельский монтер. «Сын Арсаны, счастья ему, свет нам проводит!» — говорили апсарцы.

Следователь спрашивал сестру Арутана:

— Как они относились друг к другу, была ли вражда?

Та ответила, что брат очень уважал Бадза и Бадз не раз бывал у них в доме. Провел электричество, но от денег отказался. Вообще же Бадз в последнее время брезговал их гостеприимством... После освобождения из тюрьмы, рассказывала она, брат радовался любому гостю, особенно Бадзу, выделял его.

Еще бы! Не кто-нибудь — сын возлюбленной. Ты, Адица, лицом в мать, а Бадз голосом в нее пошел...

Представляю себе, как сидят за столом друг против друга, поднимают тосты будущий убийца и его жертва. Один с виду старик, грустная усмешка в глазах, ладонью прикрывает беззубый рот, курит непрерывно и ежится, словно еще не вышел из него холод сибирских зим, другой — молод, румян, сочувственно спрашивает, опуская глаза: «Тяжело было? Тосковал по дому?» — «Нет, совсем не тосковал, — отвечает Арутан. Бадз растерян, не понимает. Потом поймет, когда сам окажется за решеткой... — Не тюрьма страшна, — продолжает Арутан, — а позор! Никакой срок не искупит его перед людьми». Бадз кивает: это ему приятно. И горевестника, и человека, который придет пригласить на свадьбу, одинаково благодарит: «Спасибо, что не забыли...»

А «старик» только одним живет — воспоминаниями. О какой-нибудь, уже далекой-далекой лунной ночи, когда тайно встречались с Мсыгудой за селом, оба молодые, робко влюблены друг в друга... вспоминает, как гасли огни в селе, как расстались под утро...

Бадз и Арутан, по словам сестры Арутана, поднимали тосты друг за друга, Бадз проводил в доме электричество... Мог бы он, Бадз, заметить альбом, лежавший на старом патефоне в углу акуаски? Мог бы и раскрыть из любопытства, посмотреть на фотографии...

Активисты двадцатых годов, передовики по сбору чая, группа выпускников средней школы... Вряд ли бы все это заинтересовало Бадза. А вот один снимок привлек бы его внимание. На фотографии парень и девушка перед гостиницей «Абхазия». Рослые, стройные. Девушка улыбается, туго заплетенные косы лежат на груди, парень держит шапку в руках. Лица взволнованные, счастливые, но, приглядевшись, заметишь и смятенную робость в улыбках...

Это Арутан и твоя мать, Адица.

Если бы Бадз увидел этот снимок, то никогда не поднял бы руку на человека, которого в молодости любила его мать.

Кто-то сказал, что если б первый человек, сделав свой первый шаг по земле, беспечно не раздавил муравья, путь человечества не был бы отмечен кровавыми преступлениями. Найдись тогда один благоразумный и отведи он руку Бадза, сжимавшую пистолет, — не сошлись бы тучи и над нашими головами.

Такого благоразумного не нашлось.

Все мы, апсарцы, заставили Бадза совершить преступление. А говорят: это Бадз убил Арутана... он один!

За час до убийства пятеро парней заходят в столовую рядом с магазином, чтобы выпить

по стакану, закусить и разойтись по домам. На суде показывали:

— Нет, пьяны мы не были: бутылка на пятерых. Кто первым начал об Арутане — не помню... Бадз заявил, что на нем нет позора: так ему старики сказали, которые предложили Арутану покинуть село. Своими ушами слышал. Бадз вовсе и не думал убивать!

И еще:

— Не все с ним согласились. Засмеялись: Арутан никуда не уехал, как жил в селе, так и живет. Арутану, дескать, плевать на тебя. С твоей матерью спит! Бадз полез в драку. А ему: «Ты лучше отомсти Арутану. Он сейчас в магазине». Ни я, ни другие не остановили... И в мыслях не держали, что убьет. Ну, ударит несколько раз... Оружия при нем не было. Он и ножа никогда не носил! А пистолет вырвал у Арутана. Я этого не видел, но так все говорят.

Удивительное дело! Сами подтолкнули на преступление, а на суде, как могли, выгораживали. И конечно, ни малейшей вины за собой не чувствовали... А могли сунуть оружие — под горячую руку-то? Мне казалось — вполне. Я даже спросил одного:

— Вы же друзья! Поэтому и помогли ему?

— Чем помогли?

— Дали пистолет. Ведь друзья познаются в беде!

Теперь-то я знаю: ни у кого из них не было оружия.

Откуда? Но что натравливали Бадза — точно. Неспроста затеяли разговор об Арутане! Не было оружия и у последнего. А если б был вооружен, как бы смог Бадз «вырвать из рук»? Оба находились друг от друга за десяток шагов!

По признанию Бадза, кто-то все-таки сунул ему пистолет. Кто? Не припомнит...

Я спросил отца, кто в тот день был у магазина. Отец назвал. И когда я поинтересовался, кто во что был одет, он возмутился:

— Курица свою погибель из земли выколупывает! И ты, несчастный, вроде нее!

Меня обидело это «несчастный», но стерпел.

— В чем виновата курица, если ей в корм яда подсыпают? — изрек я глубокомысленно.

Я уже достаточно испытал на себе, что значит разозлить врага. Это причинить зло и себе. Но что делать! Не успокоюсь, пока не пойму, что нас разлучило. Пусть мне будет еще хуже, я должен знать.

Твержу себе: удрал из села, ни от кого не секрет, кто виноват в аварии с машиной Алхаса... нашел себе уютное местечко, крышу над головой, живи, как остальные. Тебе больше всех надо? Только себе вредишь! Еще этот Дамш... Кто с добром, кто со злом? Вот и ты, Адица. Счастье принесла любовь к тебе? Прости, что сравниваю: ты и какой-то там подобранный бездомный щенок... Но я люблю тебя и привязан к этой несчастной собаке...

от которой только зло.

Увидит Самсона Григорьевича во дворе — рычит, клыки в пене. А перед моими глазами встает Мацкуя, в марлевой жалкой косыночке вместо фаты... Господи, что мы к нему пристали? Говорят, кровь, которой пролиться, в жилах не удержать. Змею убивают за ее жало. А яд полезен, спасителен. Но какой апсарец, укушенный змеей, тут же не размозжит ей голову? Мои зубы повыпадали один за другим, будто какая зараза... Стыжусь признаться, только хуже было б скрыть. Сами собой выпали? Соврал, для чего — не знаю. Выбили! Скажешь, правильно бросила, не смог постоять за себя, не отомстил обидчику.

В библейской легенде простодушную Еву соблазнил Змей, а Ева — Адама. На наш лад перекрыть — это Нан и Дад. Создатель их проклял, изгнал из рая, одного заставил добывать пропитание в поте лица, другую рожать в муках. Познание греховно и оплачивается страданиями.

Стараясь дознаться правды, все запутал: чуть не угробил честного человека, сам себя изгнал из родного села, и в довершение за эту самую «правду» еще и морду набили, лишился зубов...

Чем выше поднимался по службе Самсон Григорьевич, тем больше я боялся его и... уважал. Во всяком случае — никакой неприязни. А вот Дамш чем сильнее ненавидел, тем меньше боялся. Когда наш завод давал план и мы огребали премии, первым долгом директор благодарил Самсона Григорьевича. Мы тоже считали своим долгом, отмечая премиальные, поставить «всемогущему» Самсону, богу нашему Самсону, несколько бутылок коньяка или «Московской». Но в тот день, когда он выбил мне зубы, устроили стол в честь нашего примирения... Прямо по поговорке: пошел оправдываться, а вернулся опозоренным. Из-за стола нас вывели кровными врагами. Да, хотел помириться с Фрицем...

А с чего началась вражда?

Однажды он пригнал машину первосортного леса. Да что первосортного! Мы такого сроду не видели. Не какой-нибудь бук, с которым обычно имеем дело. И время-то выбрал самое подходящее, в отсутствие парторга, тот был в отпуске.

Бревна трехметровые, ровнехонькие, одно заглядение. Фриц о чем-то пошептался с крановщиком, машину быстро разгрузили. Бревна завезли в цех. Я спокойно сижу: ничего не вижу, не слышу.

— Надо сегодня же распилить! — кричит мне Самсон. — Останешься на вторую смену, прошу!

Мое дело замерить длину и толщину доски и записать в тетрадь. Помножив данные, получим количество кубов.

Встал у входа, сгибаю и разгибаю свою деревянную метровку. Воеет циркулярная пила, по транспортеру пошли первые доски. По толщине определил: «пятидесятка». Приложил метровку, замерил длину, записал и покосился на «хозяина». Один из пильщиков что-то орет ему в самое ухо и показывает на меня. Сейчас подойдет. Точно, подходит, с улыбочкой.

— Что это ты делаешь, Алиасик?

Так меня все — Алиасик.

— Что ты делаешь, слушай, дорогой? — Жирную шею раздул, как индюк, и оттого не голос, а клекот: го-го-го. У нас в селе говорят: когда у Хаджи воры стали со двора уводить коз, он тоже одну поволок за рога. Уважаемый Самсон привез, распилит, продаст на сторону. Те, кто рубил, грузил, распилил, в накладе не останутся. Каждому рту по ложке. А я чем хуже? Что, моему рту ложка не подойдет? Отец упрекает: я самому себе враг. Вот и посмотрим, кто прав.

— Что делаю? — невинно спрашиваю Фрица и жестами показываю: измеряю и записываю, как положено. А потом начальству докладываю. Вон в тот корпус.

По морде Самсона Григорьевича вижу: понял, что не дам ложку пронести мимо рта.

— Ай, слушай! Совсем забыл! — И ударил себя по лбу, словно усопшего оплакивал. Спасибо, если оплачешь, когда помру, но не забудь о живом.

— Мое дело маленькое, — говорю, — передать бумагу. А там сами разбирайтесь.

— Алиасик! Хоро-оший ты наш человек! Есть у меня кой-какие задумки на твой счет... Директор меня уважает, как себя, — заклекотал Фриц. — Если перестанешь болтать, как иногда с тобой бывает, понимаешь... Подумаешь, прежде чем сказать... тогда и мы подумаем о должности бригадира или завскладом. Хорошую будешь иметь долю.

— Мне хватает моего места, — отрезал я. Нет, думаю, не зацепишь! Самсон, конечно, пропустил это мимо ушей.

— Понимаешь, для одного большого человека в Сухуми хочу сделать! — Вплотную подошел, коньяком так и разлило. Я разозлился: не «бормотуху» хлещет, не по-нашему... Уставился, ест глазами и руку поднял, как для молитвы: — Ты меня хорошо понимаешь? Очень влиятельный человек, строит двухэтажный дом... А ты долго будешь здесь сидеть, на месте пенсионера?

— Самсон Григорьевич, ты же знаешь мои обязанности. Ведомость пойдет куда надо. Там и договаривайтесь между собой.

— Хай, прямо из дремучего леса! Во время войны «языка» добыть было легче, чем найти общий язык с нашим парторгом. Кляузник, больше никто! А я человек и поступаю по-человечески. — Он сунул руку в карман штанов, достал пачку — двадцатипятирублевки, червонцы... Всесильный мужик, властелин мира, Алиасик же — муравей.

И тут я сообразил, что злось не из-за того, что хотели обойти в доле, а теперь покупают. Купят и сапогом раздавят, потому что не человек... Нет, так не пойдет, попросишь меня, очень попросишь, унизишься! Плевать мне на твои темные делишки. Не то что я — Аброскил [7], ни перед кем не клонивший головы, ничтожную трясогузку не смог одолеть. Мир я не спасу, справедливым не сделаю. Могу об одном себе позаботиться. Чтобы самому себе не опостылеть. Я схватил за руку Самсона, но он ловко вывернулся. И ласково так, не спеша, положил всю пачку мне в карман. И погладил по нему ладонью. Ей-богу, я стоял и только хлопал глазами. Не знаю, Адица, что со мной произошло...

Позже, когда нас мирили, кто-то сказал:

— Собака сама по себе не кинется. Это ты крикнул: «Дамш, возьми!»

Действительно, я что-то кричал. «Дамш, Дамш!..» Но будто бы и не я. Как во сне...

Словно тонул...

Помнится, потянул Самсона в сторону, чтоб нас не видели, возможно, близко к конуре оказались или цепь была длинная. Дамш выскочил и сзади вцепился Самсону в локоть.

А потом я еще кричал:

— Дамш, держи его!

Вызывали к следователю: что, как, почему? А вернулся, один работяга пошутил:

— Вопил «Держи вора!». Даешь, браток...

Получилось со мной по поговорке: упавшего с дерева укусила змея. Не хватало того, что произошло в Апсаре, и здесь попал в переделку. Чтоб он взбесился, этот Дамш, чтоб Алышкинтыр его прибрал!

Фрица отвезли в поликлинику, перевязали руку. Сделали укол.

На другой день рано утром прихожу на завод. Места себе не нахожу. Подошли двое, из цеха. Случалось, угощал пивом, если было на что. Дружками не назовешь, так — знакомые. Подсели.

— Вчера мы были у Самсона.

— Как он? — спросил я. — Проклятый Дамш!..

— Ты своего пса укороти. Мы просили за тебя Самсона Григорьевича.

— Зачем? Мне ничего не надо.

— Смотри, ему ничего не надо! Свобода надоела, парень? Сказал бы заранее...

— В самом деле, Алиас, сроком пахнет!

— А что я сделал? Со мной в Апсаре не такое случилось...

— Что в Апсаре, никого не касается. Здесь не Апсара. В общем, сказали Самсону Григорьевичу, что еще молодой, зеленый, жалко, если загремит. Значит, такие дела: организуй стол. И при всех попросишь прощения.

— За что прощение? За взятку, которую он хотел сунуть? Ну, тяпнула собака...

— Превышение самообороны! А если взятка, надо было сообщить куда следует, а не натравливать собаку. Ветеран войны, Родину защищал...

— Он вор!

— Докажи! Кто видел взятку? Еще клевету пришьют. По двум статьям сядешь!

— Поставь ему стол, не глупи. А нет — пеняй на себя.

Я сидел, сжав голову руками. Он так мне противен был, выразить не могу... «Го-го-го!» Сволочь! Но если всех, кто не по нраву, травить собаками... Раньше бы вцепился Дамш, когда он деньги вытащил. А теперь не докажешь, верно. Кругом обложил Фриц!

Придется накрывать стол...

Сказать легко, да как сделать? Откуда я возьму деньги? Посадят меня... «Ты враг одному себе», — знай твердит отец. Не переделывать, таким создан. В нашу последнюю встречу я сказал ему, что догадываюсь, чей пистолет: не он ли, отец, закутавшись в бурку (а летом, жара), стоял рядом с Бадзом!

Совесь! Если ей во всем следовать — она когда-нибудь придушит. Или к черту эту Абхазию, где родился, живу. Бежать, как из Апсары. Пока не пропал. Многие я передумал... и стал искать деньги для стола. Всю зарплату, до копейки, отдаю хозяйке. На обед она выделяет рублевку. «И таи, говорит, обоих кормлю, крышу даю, чего еще надо!» Что верно, то верно. Больше нам с Дамшем ничего не надо. А если рублевки не проедать, все равно и за месяц на стол не соберешь! В долг залезать... Снова я вспоминал Мацкую и, не поверишь, Мсыгуду. Вдруг слились в одно лицо, скорбное, как у богоматери...

Страшнее всего — память. Ум, совесть слухавят. Память никогда. Ни мимо хорошего, ни плохого не пройдет. Все покажет как на ладони: смотри! Изгоняя из рая Отца и Мать наших, бог проклял их, но не отнял памяти. Может, как-то еще спасает меня, что знаю немного, а раз так, то столько же и помню. Только язык не умею держать за зубами. Знай я больше — хлынуло бы из меня, и не двух зубов бы лишился, а челюсти!

В рабочей столовке я накрыл стол на десятерых. Пригласил и соседа Петровича: может, скажет несколько слов обо мне.

— Чтобы Дамш не мешал, пока будете мириться, заберу к себе, — пошутил старик.

Я понял: не придет. Он и не пришел.

Оставшуюся монету я положил повару на лапу, чтоб со вниманием отнесся. Неподалеку от завода живет один мингрелец. Понадобится доска или балка в хозяйстве — не отказываем. И он выручает, когда на заводе «гости» (комиссия). Я и взял у него вина, из ахардана [8]. Такое любой стол украсит.

Сели вечером, после работы. Те двое, что ходили на переговоры к Самсону Григорьевичу (они и привели его), показывают глазами: начинай. Никто еще не притронулся к выпивке.

Я встал. Зубы еще целы, не надо, как теперь, держать руку перед ртом.

— Глубокоуважаемый Самсон Григорьевич! — сказал я, думая отделаться покороче, не затягивать. Чтобы он слова не вставил. А то закаркает, и у меня дальше духу не хватит. — Я очень виноват перед тобой. За твое добро заплатил злом. В присутствии этих людей извиняюсь перед... — чуть было не вырвалось «Фрицем», я рукавом вытер губы. — Прошу извинить.

— Алиасик! Я рад, что мы поняли друг друга! — Он тоже встал. Разрешил: можете пить и есть. С куриной ножкой в руке подошел ко мне и чмокнул. Я стоял как бревно, как чурка. Не шелохнулся.

Рядом шепнули:

— Сам должен был подойти.

— Неученый еще — научится, — по голосу я узнал цехового точильщика.

Мы пили, ели. Разговаривали.

— Хотите знать, что мой отец думает насчет выпивки? — вдруг спросил я. (Вот уж действительно нашел, что вспоминать!) — Вино, говорит, ослабляет винты на человеческой челюсти. Выходит, она у нас на винтах. Может, потому он так выразился, что я имею дело с винтами и гайками. Чтобы лучше понял.

— На винтах?.. Это твой отец хорошо сказал. Иногда, правда, надо их ослаблять, чтоб что думаешь, то и вслух. За здоровье Дамша! — Точильщик поднял стакан. — Кабы не он, не сидеть бы нам за этим столом!

— За Дамша? — я оторопел. — Ладно... За Дамша так за Дамша. Собака никогда не предаст... никогда! Она чует — человек или гнида...

— А почему же твой Дамш цапнул Самсона Григорьевича? — заскрипел точильщик, словно бруском по зубьям пилы провел.

— Самсона Григорьевича? А он... Фриц! Самсон Григорьевич, Фриц, ты не должен обижаться на Дамша. Твою печень, душу — он как на рентгене. С одного взгляда! — Покачиваясь, я пошел искать собаку, чтобы расцеловать. — Не я, а Дамш назвал тебя Фрицем. Его надо за это... Фриц Григорьич, а как ты ушел от немецких овчарок? Когда в концлагере... Может, Фриц, другому не дал уйти?..

Земля у меня из-под ног пошла вверх тормашками. Она вверх, а я вниз...

Еще под столом почувствовал, что во рту недостает двух зубов. Да благословит господь того, кто остановил Фрица-Самсона. А то бы еще и ногой двинул... Я выполз из-под стола и, держась за скулу, завопил что было мочи:

— Дамш! Дамш! Он предатель, убийца!..

Сейчас, Адица, вот о чем я подумал. Как люди враждуют между собой из-за опасливого недоверия, так и собака с волком схватываются насмерть из-за страха друг перед другом. Если б я был способен на убийство, то убил бы Самсона Григорьевича. Убил бы из страха.

Черт с ними, с зубами, дело разве в них! Будут гроши — вставлю. В идиотское положение я угодил... Самсона посадили. Ничего я не доносил! Не то чтоб доносы строчить, в разговоре с участковым на себя взял вину: дескать, при всех оскорбил. Выложил, как было. Без утайки. Даже защищал Самсона, оправдывал как мог. Никому я не хочу плохого. Только все равно пошло у меня кувырком. Одни перестали здороваться, если

начальство поблизости, другие кивнут и — мимо. Эти говорят: «Правильно ты его! Хозяином себя считал, делал, что вздумается... Карман набивал! Прежде наш директор был чист, Самсон и его замарал. А чем до войны занимался... Скольких погубил! И в войну геройствовал... Вопрос — на чьей стороне? Не бойся, Алиас, если что, мы за тебя». А другим я поперек горла: «Сам не жрешь и нам не даешь! Хорошего отношения не понимаешь? Мало тебе зубов выбили!»

Попадись им в темном углу...

Есть и третьи. Подойдет один такой, оглядываясь, и начнет, будто души не чаёт во мне: «Молодец, Алиас, за правду стоишь!» Мне одно, начальству другое: вот, мол, явился на нашу голову, тень бросил на коллектив! Хорошего человека из-за него посадили... Конечно, выручат. Но и один день за решеткой — не сахар!

Дерево, которое клонится во все стороны, ветер не свалит. Эти третьи при любой погоде выживут.

Наплевать мне на тех и на тех! О себе голова болит, как бы ни с чем не остаться. Не раз подмечал: дадут стакан молока, так обязательно в нем муха утонит или с чистого потолка какая-нибудь соринка слетит.

А знала бы ты, как я радовался недавно!..

Ждал, когда опять к следователю позовут на очную ставку с Самсоном Григорьевичем, не видеть бы его вовсе, — и тут, откуда ни возьмись, Мирон! Наш сельский тракторист, сын пострадавшего за колхозное добро... Улыбается, а в глазах тревога за меня. Почему я ушел из Апсары, он не знает. Не знает, как, ополоумев, готовил погибель Маджгане, а в аварию угодил Алхас, и о том не знает, как стал заискивать перед Маджганой, чуть ли не угождать: «Прощай зло врагу своему!..»

Не успели толком поздороваться, Мирон заторопил:

— Давай, давай, Алиас, поехали!

— Куда?

— Расскажу по дороге. Не можешь замену себе найти?

— Могу... Отпрошусь у бригадира. Да что у тебя такое?

— Все отлично, давай!

Его старенький «москвичонок» стоял у заводских ворот. Весь залатанный, следы сварок там и сям... Сам развалюху поставил на ноги. Думаю, если б не гибель отца, Мирон обязательно выучился бы на инженера.

Когда выбрались на магистраль и свернули налево, я понял, что едем в Сухуми. Мирон обнял меня свободной рукой. И впервые за долгие дни вдруг стало так хорошо!.. После «примирения» с Самсоном вместе с зубами я лишился покоя.

— Все же куда мы едем? — спросил я.

Хотя были одни в машине, Мирон склонился к самому уху:

— Чья-то, понимаешь, жена рожает! Вот такие дела...

— Твоя? — переспросил я, будто сразу не дошло, что говорит о своей. — Я еще был в Апсаре, когда она ходила беременной. Как время бежит... Поздравляю! Это действительно радость! — Я порывисто обнял Мирона, нас едва не занесло. — Но сейчас-то куда? За доктором?

В Апсаре есть же больница... Да не гони, разобьемся!

— Ее мать захотела, чтобы в Сухуми. Они впереди. Надо догнать.

— Теща, значит, настояла? — подколот я.

— Чтоб у тебя такая была! Золото!

— Жена рожает, а теща при чем?

— Когда начались схватки, повезли сначала в нашу больницу. А врач, как назло, где-то в районе. На медсестер не оставишь! Теща говорит: повезем в Сухуми. На шоссе остановил первую же машину, пересадил, а сам к тебе. Крюк небольшой...

— И хорошо сделал, Мирон. Я так соскучился по тебе! Легко меня нашел?

— Да я не впервые на твоей лесопилке. Покупал кое-что на строительство дома.

«Уж не у Самсона ли Григорьевича?» — подумал я. Но расспрашивать не стал. У человека радость — зачем портить настроение. Не хватало бы еще рассказать, как этот Самсон зубы мне пересчитал...

— Помнишь Чокнутого? — спросил Мирон. — Он нам в больнице попался. Знаешь, что сказал? «Отчего это нас, апсарцев, все меньше и меньше? А оттого, говорит, что природу обидели. Природа и женщина — одно и то же. Ими рождено человечество. А мы как относимся к женщине? Родится мальчик — палим из ружья, быка закалываем. А девчонка... Будто несчастье пришло в дом!» Все правильно. А говорят, он чокнутый.

— Мудрый человек! В честь женщины — артиллерийский салют. Вот возьми и обрадуй апсарцев, если дочь родится!

— Честно говоря, хотелось бы сына... Я ведь один у отца. Кому продолжить фамилию?

— Ты об отце... От пастухов я кое-что слышал.

— Это когда лечил сердечные раны в горах? — улыбнулся Мирон.

Не стоило бы ему лишний раз напоминать про мои раны. Но в улыбке было столько сочувствия, что я простил. Посерьезнев, Мирон сказал:

— А знаешь, плохо они живут с Маджганой. Мы с ним часто видимся. Что-то у них не ладится...

— Убить его мало!

— Зачем так? Кто из них виноват, не знаю. На чужом счастье, выходит, семью не построишь. И ребенка нет...

— Пусть кошку заведут!

Сказал — и себя же унижил. Вот опять не сдержался... И Мирону не понравилось. Разве не знал его? Словно судьбой предназначено ему быть в неоплатном долгу перед людьми. А возместить долг нечем, кроме как беззащитностью и добротой. Выругаешься при нем, пожелаешь кому-нибудь, чего врагу желают, — опустит глаза и помрачнеет, замкнется... Старик Гудиса о нем говорит: «Благослови его господь — весь в деда».

— Ты это... извини, Алиас. Много в тебе стало зла. Нехорошо, брат, нехорошо! — пожурил он все с той же смущенной улыбкой. — Старики стращают: «Бог накажет!» А ведь обязательно заплатишься за дурное. Бог не бог, а есть что-то такое... Не тебя накажет, так детей. Все-таки в старину были хорошие обычаи! Кровников мирили, и те делались как родные братья...

— Что было, то было. Давай о другом.

— Как хочешь.

— Я о твоём отце не досказал. Гудиса мне показывал место, где он погиб.

— Да? Ты видел?.. А я вот ни разу не побывал. Мать не пускает, ни в какую! Убей — не пушу, говорит. Может, вместе с тобой сходим, тайком? Имя бы его написал под тем местом.

— Оно так и называется. «Место, где погиб Апта».

— А знаешь что... — Он снова зашептал мне на ухо, будто могли посторонние услышать.
— Знаешь, родится сын — назову именем отца!

— Лучшего не найдешь, — согласился я. Были у меня смутные догадки насчет того, почему в один и тот же год погиб Апта, посадили Арутана и Мсыгуда неожиданно вышла замуж. Но я при себе эти догадки придержал. Не к месту и не ко времени был бы разговор.

— Давай так сделаем, — сказал Мирон, — родится сын, даю ему отцовское имя и для всех накрываю стол. Если дочь — за тобой имя и угощение. Хотя и так знаю, как назовешь. Адицей. Правда? Смотри, вон их машина!

За Келасурским мостом мы их обогнали. Мирон жадно косился на зеркальце заднего вида. Я тоже взглянул.

— Не скажешь, что собирается рожать, — смеется!

— А ты что, плакал бы на ее месте?

У Мирона было совершенно счастливое лицо, и я подумал: встань сейчас посреди дороги допотопный «москвичонок», Мирон взвалит и понесет на себе... Сильным становится счастливый человек!

— Алиас, какое самое большое чувство? Любовь? Этой болезнью я уже переболел...

— Любовь — это болезнь? Впервые слышу!

— Да, сердечная болезнь. Никогда не забуду, как всю ночь ждал ее... Машина наготове, я и близкие друзья сидим ждем. Час, другой... Нет и нет! Луна сияет всю, звезды — а у меня черная темень в глазах. Лишь под утро дождался... Так переволновался, что два дня в себя не мог прийти: не верил, что она рядом, жива-здорова. Но самое большое чувство не любовь, а то, что испытываешь, когда жена рождает! Тут все! И радость, и страх, и воспоминания. Радуешься: скоро будешь отцом. И боишься, как пройдут роды. И другое удивительно! Когда погиб отец, я был в колыбели. А сейчас, кажется, слышу его голос, будто разговаривает со мной. Даже вижу его! Ты улыбаешься... Я правду говорю! Поверишь, когда свою жену повезешь в роддом.

— Моя жена уже родила.

— А ты не шути! — И, похлопав по плечу, засмеялся. Ему было трудно меня понять. Как и мне — Мирона, с его счастливыми страхами и мечтательной радостью.

У жизни свои законы. А не было бы их — пришлось бы придумать. Моему слабому уму не постичь, плохи они или хороши, эти законы, но одно заметил: если идешь наперекор, то ох как потом пожалеешь! Может, с Миромом немного иначе, только за этот день я лишний раз убедился, что жизнь не прощает слишком большой радости. Верно поступают апсарцы, скрывая от посторонних глаз свои радость или беду.

Мирон и в городе не снизил скорость. Куда торопился?

Проезжали по Беслетскому мосту, и я вспомнил остроусого старичка, возившего Мсыгуду на могилу Арутана. Его дом где-то возле моста, над речкой. Сердце забило... Рядом и двор женщины, по чьей вине мы разлучились. Да только ли по ее?

Вспомнил и тут же забыл. Не хотелось думать о ней.

Я подивился расторопности Мирона: в считанные минуты поднял на ноги весь персонал роддома, переговорил с врачами. И когда подъехала роженица, ее сразу же увели. Теща поспешила следом.

Мы с Миромом стояли за воротами. Смешным показалось, что он и теща стесняются друг друга и пытаются спрятать это смущение под улыбками, отводят глаза... Все-таки правда смешно.

Мирон непрерывно курил, прохаживался взад-вперед. Пробовал успокоить — напрасно.

— Слушай, она, наверно, проголодалась! — Оказывается это о теще. Да, такого заботливого зятя поискать.

Вечерело, зажглись огни в окнах. Наконец появилась и мать роженицы. Я поймал такси, посадил ее и отвез к каким-то родственникам.

— Нан, я тебя утруждаю, прости, но если сегодня родит — сообщи, пожалуйста. Ночь спать не буду!

Я пообещал.

Когда вернулся к Мирону, тот потащил в ресторан. Но я отказался. Зашли в магазин, купили лаваш, бутылку пива.

Сидим в машине, жуем, отхлебываем по очереди из горлышка.

В полночь из роддома вышла акушерка в белом халате.

— Это она! Она принимала! — Мирон выскочил из машины. За ним, конечно, и я. Но что-то мне не понравилось в ее лице...

Сказав Мирону несколько слов, тут же скрылась за дверью.

— Сын! Сын! — завопил, запрыгал Мирон. — Понимаешь, Алиас, сын родился!

Улыбаясь, я смотрел на него и думал, что, окажись теща рядом, как жену, подхватил бы на руки, зацеловал. Он метнулся ко мне, остановился, стал рыться в карманах, ища сигареты. А я взбежал па крыльцо, открыл дверь и в коридоре догнал медсестру:

— Подождите! Это в подарок. За радостную весть! — И положил в кармашек халата сложенную бумажку.

Но медсестра вернула деньги.

— Он, отец, родственник вам?..

— Мы с ним друзья. Почему не берете? Ведь сын! — Я поймал ее руку и попытался сунуть деньги в ладонь.

— Сын у него, но...

— Не пойму, родился сын, что еще добавлять? Как здоровье ребенка, как мать?

— Все в норме, роды прошли хорошо, она уже разговаривает...

— Тогда в чем дело?

— Понимаете... Ребенок родился слепым. Я не могу ему сказать.

Не смог и я.

И теще Мирона не сказал. Поздравил с внуком и скатился по лестнице к ожидавшему счастливому отцу. Всю дорогу он пел, размахивал руками — хорошо, улицы были пустынные. Взахлеб говорил о том, каким сильным, умным вырастит сына, научит ездить верхом...

— Что еще для него сделать? Когда отец погиб, у нас была одна амацурта. А сейчас дом, большой, как казарма. Ничего ему не придется строить. Будут друзья, пусть и немного. А нет — моих друзей хватит, чтоб в доме не было отбою от гостей! Ты знаешь, Алиас, в селе нашу семью уважают. Мать рассказывала, кукурузу собирали вскладчину... «Не дадим с

голоду умереть, Апта голову положил за общее добро!» Я тоже своего не жалею. И не из ленивых. Все будет у моего сына!.. Ты что, заснул?

— Какой может быть сон!

— Сидишь так, будто спишь...

— Знаешь, что ты можешь самое лучшее сделать для сына? Брата ему подарить.

— Ну, за этим дело не станет! Раз начала рожать, умереть мне вместо нее... Хай, я все про себя. Когда женишься и у тебя родится сын, я не буду, как ты, спать на ходу. Увидишь!

— Если женюсь, если родится...

— Не веришь? Слушай, кому везло с первой любовью? Все забудешь, когда станешь отцом!

Он верит. Почему бы и мне не поверить, что к его сыну вернется зрение?

А может быть, хорошо, что не сказал правду?

Не сказал о несчастном сыне Мирона и тебе, Адица, когда спустя десять дней встретились на свадьбе у Чокнутого. Сегодня правда, а завтра ложью обернется. И наоборот. Мы пошли с тобой танцевать, и ты упрекнула:

— Ради приличия улыбнулся бы!

Я еще крепче сжал губы. Думаешь, не хотелось? Думаешь, сердце как сумасшедшее не билось? Увидел тебя и голову потерял! Беззубый влюбленный... Кусал губы и молчал. Да и на свадьбу попал без приглашения.

Лгут одни трусы. А человек, который носит штаны и считает себя мужчиной, не боится правды. Какая бы ни была! Если уж солгать, то так, чтоб не уличили.

Только все равно не скроешь. Ни правду, ни ложь. Как не скроешь, что у тебя зубов недостает. Так или иначе узнают...

На свадьбу же меня потащил Мирон. Ехали из роддома, боль и радость смешались во мне, боялся другу в глаза заглянуть. Он вдруг сказал:

— В субботу будешь в Апсаре?

— А что?

— Чокнутый женится! Бакир Баталович! Теперь придется так его называть. Сенсация! — ввернул он по-русски.

— Он разве не был женат?

— Уже три года, как разошелся. А знаешь, из-за чего?

— Я тогда в армии служил.

— Анекдот! Ходит в тряпье, не стрижется, не бреется, но баньку любит и все на нем чистое. А захочет, нарядится что твой князь!.. И язык подвешен, любую охмурит. Первая жена была местная. Чокнутый стал ее перевоспитывать: у апсарцев мозги набекрень, что ни скажут — понимай наоборот. «Значит, и у меня, спрашивает, мозги набекрень?» — «Конечно», — отвечает Чокнутый. «Если совру, то правду скажу?» — «Ее самую!» — «И наоборот?» — «И наоборот!» — «Если так, родненький, я от тебя никогда не уйду, день и ночь буду с тобой!» Собрала свои вещички и поминай как звали. Жди, говорит. Он, как дурак, и прождал целых три года... Так что, приезжай обязательно!

— Меня он не приглашал. Не родственник, не сосед.

— Зато родственник Адицы по мужу. Да и пойдешь ведь со мной!

«Уж не встречу ли с Адицей устраивает?» — подумал я.

И потом все время думал... Вот пишу тебе это бестолковое письмо, которому конца не видать. Мери настояла! А зачем?.. Сам не пойму. Ну, разошлись по какой-то причине — так хоть бы друзьями остались. А Мирон? Только ему и хлопот, что помирить поссорившихся. Вроде наших благодушных стариков на сельском сходе... Зовет на чужую свадьбу, где свою невесту увижу замужней женщиной! В школе надо мной подшучивали: «Книгочей, интеллигент!» Хорош «интеллигент» — из ревности едва человека не погубил и себя заодно... Ты когда-нибудь слышала, Адица, чтоб голыми ногами ходили по колючкам? Нот, все норвят по нерпой травке. Чего добивался Мирон?

Как бы то ни было, достал денег на свадебный подарок, точно я близкий родственник Чокнутому, и в субботу прикатил в Апсару.

Как же я был зол — на тебя, на Мирона! На всех... Выложил деньги и сказал во всеуслышание:

— Человек, который сегодня вступает в законный брак, наш апсарский мудрец, наш добряк Баки, как вы знаете, мне не дядя, а я ему не племянник. Однако между нами более глубокая связь — это взаимопонимание и дружба.

Интересно, когда мы с Чокнутым были друзьями?

Не пожалел ни денег, ни пустых слов. Пустых? Когда черпак окунаешь в воду, он наполняется...

Одна из женщин сказала другой, упомянув имя моего отца:

— Хороший у него сын, да пьет много.

Я шутовски поклонился, хотя был трезв как стеклышко:

— Грешен, мать, люблю!

Прислуживая гостям, ты, конечно, была в апаше [9]. Когда с тарелками проходила мимо, я окликнул, подозвал: сестрица, дала бы нам из того, что несешь, скучаем за пустым столом! Сидевшие рядом не дураки, смекнули, что к чему. Стол ломился от угощений, некуда локоть поставить. А ты... ты так и вспыхнула! Видел бы тебя Маджгана в этот

момент. Когда танцевали с тобой, все искал его глазами: пусть побесится! Мне очень хотелось вашей ссоры... А потом я пел. Вместе со мной и Мери — как когда-то в школе. Она первым голосом, я вторым. Нас сразу окружили. Пошли танцевать... Сделали один круг, другой. Ты была в апаше, а вернулась — Мери уступила танец тебе.

Ты делала вид, что мы совсем незнакомы... Только не смогла до конца выдержать роль. Танцевала отменно, и я не ударил лицом в грязь, о, еще бы: сколько раз на школьных вечерах выходили в круг! А кончился танец, не поклонилась, не поблагодарила... Ну хотя бы тех, кто пел и хлопал в ладоши. Затерялась в толпе, оставив у какой-то девушки свой передник, который сняла перед танцем. Хотел тебе отнести, аккуратно сложить и отнести... И вовремя Мирон попался на глаза.

— Поедем! — сказал я.

В воротах догнала Мери:

— А ты мне сегодня понравился!

— Да? Брось мужа и выходи за меня...

— Адица была испугана. Ты заметил?

— Разве?.. А кто такая Адица?

— Перестань! Помнишь, о чем я просила? Напиши ей... Ах, до чего ты все-таки глуп! Прямо как та бабушка, которая сплясала на празднике.

— О подруге хлопочешь... А я уже забыл ее.

— Видел бы ты свое лицо, когда она подошла! Маджгана не выдержал и вылез из-за стола...

— Какой наблюдательный! Разбирается в лицах.

— И в людях.

— Похвали, похвали его!

...Да, дорогая Адица, ты тогда здорово напугалась: не думала меня встретить на свадьбе. Выпиваю, несдержан, могу устроить скандал. Набить и морду кое-кому... По-мужски, кулаком, решить все проблемы. А вдобавок... Ведь когда выпью, язык что попало мелет! «Эй, Маджгана, спроси-ка свою жену, при всех спроси, не провела ли ночь со мной под одной крышей?» Или ты забыла, что это значит для апсарцев? Всего одну ночь! Какая чепуха, подумаешь — ночь... Может, мы читали сказки друг другу! Люди сказали бы с презрением, что я не мужчина. Не Маджгана, а я! Обо мне пусть что угодно. А вот про тебя... Что сказали бы про тебя? Какую радость доставила бы им Адица: чего же вы хотите от дочери Мсыгуды! Ты слышала, конечно, нашу перебранку с Мери (видел тебя во дворе у Чокнутого, когда выходил): «Кто такая Адица?.. Я забыл ее!» Чем чаще жизнь поворачивается ко мне спиной, тем мне отрадней, узнаю цену себе и людям. Кто чего стоит... Родная Апсара! Я помахал ей ручкой на прощание, ее милые шуточки мне поперек горла. И не хочется больше играть во взрослые игры...

Мы ехали с Мироном по проселку в его «Москвиче», тьма окутала село, а на юге, над морем, висела низкая светлая луна. Мирон говорил о моих стариках, которые дома одни, и мне бы подумать о них. Дом, хозяйство... Я же думал совсем о другом.

У сельсовета попросил остановить машину и вышел. Фонари еще не зажгли, и было далеко видно вокруг. Было хорошо. Луна сияла, звезды... Какое небо над селом! Оно не всюду одинаково, как не одинакова земля...

Мирон дремал в машине, привалившись к дверце. Может быть, считал, что лучше оставить меня одного?

Рядом с Дворцом культуры когда-то стоял сельсовет. Чуть дальше пологий спуск и за ним поредевший лес. Местные жители там пасут скот. В стороне, на склоне холма, с которого село как на ладони, до замужества жила и Мсыгуда. Возможно, сохранился и дуб, у которого встречалась она с Арутаном. И в ту ночь встретились, когда была ограблена колхозная касса и сгорел сельсовет.

Ограблена, сгорел... Рука одного и того же злоумышленника?

— По-разному судят...

Вернувшись к Мирону, я сказал:

— Постоял на площади, где Арутана убили.

Мирон поежился.

— Короткая память у людей, все забудут... Кто был хорош, а кто и в зале не достоин лежать! Видел, какая могила у Арутана? — Он возвращал меня в Апсару, к призракам-скитальцам, не находящим себе места...

— Если бы человека оценивали по его могиле! А мы даже не знаем, где похоронен Нестор Лакоба. В Сухуми только памятник. Каким ты помнишь Арутана? — спросил я.

— Зачем это тебе? Адица не вышла бы за Маджгану, если б не ее мать... Тебя она пощадила!

— Каждому то, что заслужил! — оборвал я.

— Вот именно.

— Мне за то, что среди зимы захотел земляники... Не дали! Но с обидчиком я рассчитаюсь.

— В селе говорят об Алхасе...

— Это наше с ним дело.

— Если бы только ваше!

— Наше! И больше ничье. Остановись у двора Гудисы, я сойду.

Он взглянул с недоумением, не понимая, что со мной. И когда медленно отъехал, я вспомнил, что не предупредил его, чтобы он не говорил отцу, что я в Ансаре гулял на чужой свадьбе.

Был тот вечерний час, когда большие крестьянские семьи собираются к ужину. То там, то здесь раздавался ленивый лай собак. Я стоял на дороге, чувствуя, как дрожит горло. Завтра же найти Мирона и попросить прощения, подумал я, и в памяти тут же зазвучал голос отца: проклятый богом... всех подозреваешь в подвохе и зле. С Мери был груб, обидел Мирона. Лишь я и Адица, а вокруг нас враги, насмешливая злоба или недомыслие... Нет, один я невинен и чист. Зачем я иду к Гудисе?

Дверь в кухню была открыта. Огонь очага освещал половину двора... Однажды мы шли по склону, стадо паслось на той стороне. Впереди Гудиса с посохом, склон был не так уж и крут, но у старика вдруг подломились колени. Я подбежал.

— Оставь, дад, — сказал Гудиса.

Таким он запомнился мне — на коленях, с лицом, обращенным к горам. Над хребтом сиял снежный Ерцаху.

— Вот мы и расстаемся, — пробормотал старик. — Последний год...

Это он с горами прощался.

Но у него дом, большая семья, на зависть любому. Сыновья, дочери, невестки, внуки...

Встретили меня как желанного гостя, накрыли стол. А потом я попросил оставить нас вдвоем. Старик сидел перед камином, бушевал огонь. Как патриарх, Гудиса сидел с посохом в руках, все знающий обо всех, живых и мертвых.

И я спросил, помнит ли он свои и Апты свидетельства по делу Арутана.

Да, он помнил.

— Из района приезжал... называли Черным Вороном. Стряпал бумаги... Я донес на тебя, ты — на меня. Люди из страха доносили. Или молчали — тоже из страха...

— Дед, а ты все тогда сказал? Ведь ты и Апта... В архивных документах — лишь то, что известно всем.

Прямо в лоб! Никакого уважения к почтенному возрасту: «Ты и Апта сказали не все». Ты промолчал, скрыл, дед Гудиса... Я был точно вне себя. Из-за свадьбы. Ты, Адица, такая похорошевшая, но уже давно не моя, и Мери — само счастье... А я один сам с собой, со своим унынием, думами, завистью! Да хоть бы к Гудисе, старому человеку, немного снисхождения... А зачем? Снисхождение! К старости, к правде, ко лжи...

— Вы с Аптой были в горах. Потом верхом на лошадях спустились в село, чтобы получить деньги в кассе — свои и пастухов. Ведь так и было?

Гудиса кивнул:

— Весь день с утра ждали у сельсовета, а назавтра должны были вернуться...

— Помнишь, говорил мне про ангела, оставляющего человека на произвол дьяволу? На одну-единственную ночь.

— Кто знает, дад, может, кому и удастся перехитрить своего беса. Тогда много было скота и пастухов было много... Что ты хочешь узнать?

— Во дворе сельсовета вы с Аптой ждали кассира. Это я знаю. А в ту ночь... В ту ночь вы были в дороге? Вместе ночевали?

— Нет! — жестко сказал Гудиса. Будто я в чем-либо его заподозрил.

— Не вместе? И не знаешь, где Апта был той ночью?

— Не знаю.

— А наутро встретились?

— Утром я зашел к нему. И он сказал, что произошло в сельсовете.

— Он спал, и ты его разбудил? Или он уже встал? Что он делал, когда ты увидел его?

— Копался в своем ореховом саду. Спросил, зачем ему лопата. Сентябрь — дерево не посадишь, огород окучивать ни к чему...

— А он?

— В старые времена закапывали кувшины с вином. Так вот он кувшин из одного места в другое перенес...

— И ты поверил?

— Да, он объяснил: свиньи подкапывают. Когда Апта погиб, я рассказал пастухам про тот кувшин. Покачали головами, повздыхали: это его бог покарал. Нельзя выкапывать, не принеся жертвы.

— В саду один был кувшин?

— Нет, как один? Мирон и сейчас в них наливает вино. Арутана в тот же день арестовали, он сознался через неделю... Не вернулись бы в горы, жив был Апта. Побледнел он страшно, когда обоих нас к следователю вызвали. Что ему ни скажут — соглашался. И по дороге в горы был сам не свой. Твердил, засадит нас Черный Ворон... Верно, если б не его смерть, посадили бы вместе с Арутаном! По правде сказать, я бы не побежал спасать скот. Ничего было не сделать... А Апту прославили. Тогдашние газеты много писали. Он только-только женился, жена родила... Черного Ворона боялся. А пастухи смеялись: по ночам не спит, скучает по жене и ребенку.

Немного рассказал Гудиса. А вопросов уйма. Зачем, к примеру, потребовалось выкапывать, переносить кувшин? Свиньи рылись... А почему ранним утром, перед тем как сызнова отправиться в горы? У следователя весь издрожался! Скажут: кто не боялся в те времена! А сейчас начни разговор об Апте — до небес вознесут. Герой! О нем одно хорошее, об Арутане же слова доброго не услышишь. А каков был на самом деле?

После тюрьмы сильно изменился. И внешне, и характером. Друзей нет, не с кем горем поделиться. Сестры говорят, хотел уйти из села. Мать не отпустила... Что же, так все и отвернулись? Старики советовали ему: «Живи, хозяйствуй. Никто не гонит. Ты за свое заплатил».

Остался. Время шло, он все холост. «Женись!» — настаивали родственники. Отвечал: «Чтоб на моих детей перешло клеймо?» Поэтому и не женился. А чем занимался, оставшись в Апсаре? Выращивал табак. Сам сажал, ломал, сушил... О Мсыгуде, по словам сестер, слышать не хотел. Слышать-то не хотел, а переживал страшно, покоя не знал...

Однако понять не могу. Как бы он ни переменялся, натерпевшись в лагерях, каких бы унижений досыта ни хлебнул, вряд ли забыл о нраве апсарцев. Другой и дня бы не остался в селе! И что ж, если б не выстрел Бадза, у нас с тобой, Адица, все счастливо сложилось?.. Да сама природа бы воспротивилась! А уж что до апсарцев... Они бы сплетнями извели.

Вот мой отец... Ты знаешь, он был с теми, кто посредничал между сторонами в этом запутанном деле. Надеялись уладить, избежать кровопролития. И ничего не смогли! Собрались поговорили и разошлись.

— Какой толк от вас? — говорил я отцу. — Только ускорили развязку!

И отец снова заводил о Мсыгуде и Арутане, о дружбе с Арсаной, мужем Мсыгуды... С детства — как братья. Позор Арсаны — его позор. А теперь и вдвойне, потому что инвалид, беспомощен, не способен себя защитить. Совет старейшин взял его сторону. Вроде как моральная поддержка. А с Бадза потребовали слова, что не возьмется за оружие. Большое дело сделали! Отец так и сказал: «Большое дело».

— Где же оно, — не согласился я, — если убийство произошло?

— Арутана просили уйти из села. Он не ушел.

— А почему? Кому знать, как не тебе, что с Мсыгудой не дали встретиться, поговорить! Они, кажется, любили друг друга...

— Ты кого защищаешь, кого?!

— Я хочу правду узнать.

— Она у того, кто стрелял.

— Так где же ваше миролюбие? На словах одно, на деле другое. Оправдываешь убийцу... Не понимаю!

Отец и не попытался объяснить. Вот ты, Адица, говоришь: думаю только о себе. А отец считает, что и для себя палец о палец не ударю, ни на что не годен. Снисходительно похлопал меня по плечу. Мол, до Бадза тебе далеко, сосунок. И пошел по своим делам. Я глядел ему в спину и думал: «Знаю вас, апсарцев! Если двое совершили скверный поступок и один из двоих уже мертв — все на него и вали! Живого не дай в обиду!»

Обвиняют Арутана во всех смертных грехах, и его родственники молчат, зажав рты. Молчат. Но и камень треснет, если раскалить... Не мы ли, апсарцы, говорим: кровная

мечь не стареет? Вот возьмутся за оружие родственники погибшего, потом и отомстившим отомстят... Как у нас говорят, старушка пеклась обо всем селе, а о ней и не вспомнили. Так и я: ушел из Апсары, чтоб не видеть никого, а душа тоскует. Моя бабушка, помню, молилась перед сном: «Боже, будь милостив к нам! Не накажи. Сами не знаем, что творим». Мы глупы и торопливы, и из-за этого наши несчастья. А сколько других пороков! В старину маршановцы, жившие по соседству, друг друга резали. Нет бы что доброе после себя оставить! Хотя бы тех же чачбовцев высокородных перерезать за то, что стравливали семьи, сеяли вражду повсюду, внушая, что кровная мечь — свята. Позор-де смывают кровью. Превратили Бадза в разъяренного кабана... А Арутан? Бежал бы из села без оглядки! Или сидел бы в своем дворе, не высывал носа. Нет, апсарцев возмутило, что не побоялся, вышел... Вот и поплатился! «Все справедливо». Арутан же в больнице говорил следователю: Бадз стрелял, а оружие в руку вложили апсарцы. Мог бы скрыться, но зачем? Вот тогда бы возликовали... Арутан прервал все отношения с Мсыгудой, чтоб ни малейшей тени не бросить на женщину. Не верили! Руки потирали, опозорив невинную... Пока крови не дождались. Пусть теперь успокоятся. Не то что невинных, они и себя защитить не могут от собственной глупости!

Перед смертью он им сполна воздал. Это он. А ведь даже я поношу земляков! Он хотел, чтобы стали лучше, умнее... Арсана, твой отец, каким он был в молодости? Как и сейчас, ковылял с палочкой? Другим его не представляем. Как Льва Толстого без бороды — будто всю жизнь был стариком... Но Мсыгуда не любила твоего отца. И тот не мог этого не знать, не чувствовать. Так почему женился? Был старше, но не настолько, чтоб отступить: необъезженных конец обуздывал! Может быть, умыкнул? Не такое уж и геройство. Мсыгуду силой выдали? И это бывало. Согласия девушки не спрашивали. Случалось, что еще ребенком засватывали...

Ночевал я в доме Гудисы. И когда утром, распрощавшись, вышел за ворота, честное слово, вовсе не думал, что по пути заверну к твоему отцу. Виднелись верхушки знакомых карагачей, забилось сердце, и я вспомнил, как однажды сидел с книгой в вашей акуаске, листал и украдкой, с таким же сердцебиением поглядывал на тебя...

— Алиас, что у тебя со щеками? — спросил тогда твой отец.

— А что? — Я обеими руками схватился за щеки.

— Да на них чурек можно испечь!

Меня всего жаром охватило.

Вспомнил этот смешной случай и почувствовал влагу на глазах. Вернуть бы то время!

Дрожали колени, когда открывал калитку во двор... Спросили бы: ты и прежде бывал у Арсаны, какой дом у него? Что ответить? Каким видит ласточка родное гнездо, вернувшись весной из-за моря? И только ли тот дом родной, где ты появился на свет? Здесь родилась моя любовь, здесь же ее и убили... Да, хорош дом, из тяжелых каштановых досок, на высоком фундаменте. Веранда во весь фасад. По верху веранды деревянный орнамент — какие-то птицы... Красиво. Смотрел и думал: ведь Арсана строил, твой отец, у него умелые руки. Сам он сидел на веранде, прислонившись к подушке, палка в ногах.

— Такар, Такар! — прикрикнул он на собаку, которая с лаем бросилась ко мне. Но вдруг остановилась, завяляла хвостом. Поверишь ли, Адица, узнала!

Более холодно, чем до твоего замужества, поздоровалась со мной жена Бадза. Словно по моей вине не стали родственниками.

Заметил ли Арсана, что на моих щеках нет и в помине прежнего румянца? Наверно, заметил. С трудом поднялся навстречу и нахмурился как-то потерянно.

Надо бы спросить о Бадзе, выразить пустое сочувствие... И не смог. Сказал, что был у Гудисы, полночи проговорили.

— Он многое помнит! — Точно капкан поставил: про тебя, дескать, говорили, про молодые годы, о Мсыгуде. Кто знает, может, откровеннее станет.

Но Арсана спросил безучастно:

— Что же он рассказывал?

Я не ожидал такого вопроса. И сам полез в капкан.

— Да разное! К примеру, что мы, абхазцы, не от нартов, а от ацанов...

Откуда я это взял?

— Неужели мы такие неказистые? — удивился Арсана и придвинул графинчик чачи, которую с закуской принесла невестка. — Выпей-ка стопку.

— И я не поверил! Как это произошло от ацанов, которые росточком с папоротник? А он говорит, дело не в росте, а в гордости. Силой не отличались, но ни перед богом, ни перед людьми головы не склоняли! — Тут я поймал себя на том, что и голосом, и манерой подражаю старому Гудисе. Врал напропалую, и хоть бы капельку смущения!.. Говорят, чтобы сравниться со львом, стань сначала лисицей. Но чтобы узнать правду, хитри и изворачивайся, — такого покуда не слышал.

— Судить о человеке легко, понять трудно, — сказал Арсана. До него еще не дошло, куда я клоню. — Про кого столько судачили, как про нее, несчастную? «Совестливая, порядочная»...

— Ну, теперь все открылось!

Арсана взглянул косо:

— Открылось? А кто знает правду хоть о себе самом? Не то что о другом — о себе знать ее не захочешь! — Взял книгу со стола, повертев, положил. — Каждому на роду написано предназначенное... Не преступишь. Послушался бы я твоего отца... Не бери ее, не потому выходит за тебя, что любит. А разве я не знал?

Это он не мне, а себе самому. И, уверен, не в первый раз.

Я дотянулся до стаканчика, выпил и сказал, пожав плечами:

— Дело прошлое, сплетни всякие...

Невестка с ненавистью посмотрела на меня. Отвернулась и ушла к ребенку, игравшему во

дворе.

Арсана:

— Когда Арутан вернулся из заключения, я сказал ей: если все еще любит — разойдемся по-человечески. Не согласилась. Зачем, ответила, нам расходиться?..

Не ошибку свою признала — ту самую «ошибку молодости», сумасшедшую страсть, из-за которой очертя голову прыгаю? в омут, а совсем уж просто: «Зачем расходиться!» Ни да ни нет. Поди пойми. Арсана рядом с ней действительно был неказист — до подмышки едва доставал... Говорит, что пошла за него, потому что другого выхода не было. А его — «бес попутал»...

Арутана арестовали за ограбление кассы и поджог. Арсана не верил! Страшная нелепость, наговор. Но нигде не защитил. Не из мести. Любовь к Мсыгуде ослепила, ничего другого для него не существовало, кроме этой любви... А прочие что же? Поверили, когда сознался? Людей не обманешь. Блоху по следу найдут! Но смолчали все как один. Почему? А какая польза?.. Об этом подумали, о совести забыли! И вот хотят, чтоб Арутан жил по их совести... А Мсыгуда? Говорят, испугавшегося смерти как раз и повели на кладбище. За братьев испугалась — пропадут!

— Предрассудки нас губят, слова не скажем без оглядки... И не радуйся тому, что не тебе предназначено. Вот когда нужно мужество.

— Кто не хочет счастья? — ободряя, сказал я.

— Счастья на чужом несчастье не бывает! — Арсана повел рукой, как бы отстраняя мои слова. — Не Арутана и Мсыгуду надо бы гнать из села, а меня и ее, когда поженились...

Поженились. Значит, брак зафиксировали? Я подумал об этом и смутился. Кто из наших молодоженов тотчас идет в загс? Пока ребенок не родится, чтоб выправить метрику... Словно в бумаге с печатью и подписью-закорючкой все дело! А ты ходила с Маджганой? Кажется, нет. Стало быть, нечто иное вас соединило! Между тем твой отец и мать сразу же оформили брак...

Мы разговаривали, сидя за столом, когда неожиданно вошел... И как я не предупредил Мирона, чтоб обо мне ни слова отцу? В самом деле, вместо того чтобы навестить родителей, на ночь глядя потащился к старику, который мне вовсе не друг закадычный, а до родного дома рукой подать, крик петуха услышишь! Конечно, Мирон проболтался. Вот отец и явился за мной. Со двора донесся его голос: «Эй, хозяин, есть кто дома?» После нашего разрыва с тобой отец заметно охладил ко мне. Я платил тем же. Ты ему нравилась как невестка, еще бы — дочь близкого друга! Однако надежды не оправдались. Достаточная причина для досады...

Мне стало не по себе, когда увидел отца. Будто застал за чем-то предосудительным. А что выделывала собака хозяина! Прыгала гостью на грудь, руки лизала... Соскучилась до смерти! Я вспомнил о Дамше, о его чутье на хороших и плохих людей. Интересно, обладает ли таким чутьем и эта собака?

И еще. Очень удивило, как холодно, отчужденно твоя невестка поздоровалась с отцом. Он поднимался по ступенькам крыльца, когда вышла из кухни и остановилась, точно вкопанная, с видом горевестницы.

— Ну как, моя хорошая? Да благословит тебя бог! — сказал отец и поцеловал ее в голову.

И улыбка не осветила ее мрачного взора!

Вслед за матерью выбежал ребенок. Отец вытащил припасенную конфетку. Но мать подхватила бегущего малыша и унесла. Он изо всех сил болтал ногами и кричал, что хочет конфету.

Арсана не обратил на это маленькое происшествие никакого внимания. Может, лишь сделал вид. Или попросту привык... Радость выражало его лицо.

— Где ты пропадал? — сказал мне отец, будто вчера расстались. Знаю, у него одно на языке, на уме другое. Я ответил в тон:

— Да вот по пути решил заскочить... Вы с Арсаной друзья, и мы с Бадзом. Хотел узнать про него.

Напрасно! Отец не поверил ни одному слову. Мало того — знал, почему я здесь. Я по нахмуренному лицу понял.

— Был на свадьбе своего дружка? Свадьба что надо! — засмеялся отец.

— Какого дружка? — спросил Арсана.

— Разве не слышал про его близкого друга? Чокнутый, кто же еще!

— Хай, что говоришь! Когда это Алиас и Чокнутый были друзьями?

— А что ж тогда его привело на свадьбу? Ведь не родственники!

Мне стало жарко. Я покосился на Арсану: не то что ему было неприятно замечание отца, но сожаление не ускользнуло от меня. Сожаление, сопровождаемое выражением покорности, бессилия перед этим человеком: «Я согласен с тобой, что бы ты ни сказал, я согласен».

— Шел мимо, дай, думаю, зайду! — подколол отец. — Ну а как ты, Арсана? Извини, никак не выберу времени заглянуть. Соседи не передавали, что дрова на зиму мы тебе заготовили? Не бойся, без дров не останешься. Недавно о твоём сыне узнавал. Скоро вернется. Немного терпеть... Как ноги? — спросил он с тревогой. — Болят?

И погладил, положил руку ему на колено, будто часть своей силы, которую не знал, куда девать, хотел передать Арсане. Я подивился их дружбе.

— Придется, наверно, оперировать. Осколок в пояснице... Хоть бы на месте стоял — бродит! Что делать! А было время, помнишь, бегали с тобой наперегонки! — Арсана улыбнулся через силу. — Болеть не болят только ходить тяжело.

— Если не обойдется без операции, сам отвезу. Не переживай! Слава богу, живой вернулся. А сколько пропало на войне!

— Спасибо, много хорошего ты мне сделал. Родной брат столько не сделает!

— Амнистия будет. До срока освободят... Забыл спросить, сын Апты не приходил? Договорились, что привезет дрова. Прицепит к трактору волокушу — никаких хлопот!.. А мне нравится новый председатель, года нет, как назначили, — а ум уже налицо, в правлении радио играет, настроение поднимает!

Отец и хозяин заговорили о колхозных делах, а я подумал: почему «сын Апты»? Все так называют Мирона. Раньше даже завидовал... Дети Мирона будут хвастать именем деда. В сельсовете висит портрет Апты рядом с фотографиями погибших в войну. Говорят «сын Апты» — и Мирон принимает это за особую честь.

А сейчас резало ухо. «Сын Апты»... сын героя. Героя ли?

Я спросил, когда отец и Арсана замолчали, наговорившись:

— У сына Апты имени нет?

— Видишь, обиделся за друга! — улыбнулся Арсана. — Твой сын ищет правду, пошли ему бог удачи! — И повернулся ко мне: — Правильно ты его упрекнул

— Для нас Мирон пока еще сын Апты. А прославится больше отца, станем называть Апту отцом Мирона! — Отец засмеялся, довольный: самому понравилось. — Сын гордится славой отца. А его позор — позор сына. Или ты этого не знаешь? — Он снова положил ладонь на колено Арсаны: твой сын, дескать, смыл с тебя позор. Я смотрел на эту ласковую руку, и мне было отчего-то стыдно. Отец продолжал уверенно: — Нынешняя молодежь считает, что честь и позор умирают вместе с человеком. Это не так! Мой друг где потерял здоровье? В чужой курятник залез, и ему, как вору, ноги переломали? Он Родину защищал! И такого достойного человека опозорил какой-то проходимец... Умереть мне вместо Бадза! На нем нет позора. Ни на Арсане, моем друге, ни на дочери его, ни на внуках! — Он встал. И меня поднял строгим взглядом: — Пошли, дело есть. Ты мне нужен.

Но каким мягким стал этот взгляд, когда отец простался с Арсаной!

— Куда это невестка подевалась? — обеспокоился хозяин. — Проводила бы...

«Ты ведь знаешь, — говорили его извиняющиеся глаза, — обижена на тебя».

Обижена? За что же?.. Э, зачем мне их тайны! Знаю только: прогнала бы моего отца со двора, если б не свекор.

— Не стесняйся, заходи, когда захочешь, — сказал мне Арсана.

Мы с отцом спустились во двор. С радостным визгом под ноги снова кинулась собака. А что бы сделал мой Дамш? Зарычал? Что настораживает меня в отце, что произошло? Нет прежнего тепла... Господи, это я о родном отце! Хватит, выбрось дурное из головы. И Адицу, от которой одни несчастья. Никакой уже любви. Тобой пренебрегли, и вопит ущемленное самолюбие... Заткни ему глотку!

Вспомнил: сегодня воскресенье, Дамш гуляет с Петровичем. На его попечении. А если удерет? Конечно, на завод помчится — искать меня. Не дай бог, попадетса Фрицевым прихлебателям, голову расшибут. Сказать отцу о Самсоне-Фрице? Да как начать, с чего?..

Помнишь, Адица, старый граб недалеко от вашего дома, на спуске? Ни травинки под деревом, скот вытоптал. Сколько раз я ждал тебя под этим грабом! И кто бы мимо ни шел, спрашивал, посмеиваясь: «А ты что, Алиас, мух от коров отгоняешь?»

Сейчас на грабе ни единого листика. Как всегда, лежали буйволы, меланхолично пережевывая жвачку.

Отец повернул туда.

— Значит, ты вчера был...

— На свадьбе Бакира, — подсказал я. Не Чокнутого, а Бакира! Иначе отец Чокнутым назвал бы меня самого.

— Тебя приглашали?

Я сказал, что пошел ради Мирона. Да и не с пустым карманом.

— Ишь щедрый какой! Он с Мироном заявился... С близкой родней! Пустой ты человек!

Ладно, пустой и пустой... На то и отец, чтоб «учить».

Он немного остыл и спросил примиренно:

— Дома-то почему не ночевал? Так и просидел у Гудисы?

— За разговорами время летит. Вспоминали, как были в горах... О многом... Детство свое вспомнил...

И удивился, услышав свой голос как бы со стороны, и даже порадовался: думал, уже не смогу откровенничать. Отец помолчал.

Из вытопанной земли торчал корень граба, где мы, Адица, сидели с тобой, обнявшись... помню, хотел вырезать твое имя. Успел только букву «А». Ты застала меня за этим занятием: «Чтобы надо мною смеялись?»

— Слушай, — снова заговорил отец. — Что ты все ходишь по людям? Что-то все ищешь...

Точно узду вырвал из рук! Но, ты не поверишь, мне стало легче.

— За себя боишься?

Он сокрушенно вздохнул:

— За тебя! Как до твоего ума не доходит?.. Говорят, всех расспрашиваешь, кто в тот день был у магазина, что-то на бумагу записываешь... Чего ты хочешь? Через два года Бадза освободят. Получил свое, отсидел — чистым вернется. Или ты думаешь, он за кого другого в тюрьме?

— Стрелял Бадз. А убили Арутана...

— Ага! Те самые, кто напомнил Бадзу о его позоре.

— И они тоже.

— Выходит, заставили? Кто? Нет, дорогой мой, Бадз сделал святое дело и по своей воле! В подонка стрелял. А ты считаешь, надо было простить? — Он опустился на корень, на котором была вырезана начальная буква твоего имени, а я стоял рядом, и хотелось крикнуть, чтобы он встал...

— «По своей воле»! — Я отвернулся пренебрежительно, будто не отец передо мной. — Где он взял пистолет? С собой принес? Джинсы да сорочка, в кармане разве что носовой платок поместится. А вы все в черкесках и бурках!

— Да, собирались в район. На спевку.

Это правда. Отец и сейчас в ансамбле.

— Сколько вас было? Трое. И Бадз сразу к вам направился. Разве не так?

— Ну-ну? Хотел было у одного вытащить из ножен кинжал. Но не дали!

— Зачем же кинжал, если у него пистолет?

— На суде признался, что был пистолет. Купил у незнакомого человека.

— Он солгал!

— Погоди... — Отец вынул сигарету, закурил. Я протянул руку — он не заметил. — Скажи, если б твоего отца опозорили, ты бы встал на защиту?

— Да, если бы знал, что невиновен. Из вас троих кто-то дал Бадзу оружие. Этот кто-то и убил Арутана.

— А ты не так глуп, каким казался... Выучили б тебя, может, что-нибудь и вышло. — Он затыкнулся с усмешкой. Посмотрел снизу, из-под бровей, и сказал резко: — Вот так, распахнул бурку, вытащил из-за пояса пистолет и сунул Бадзу. Я! Я ему дал. Теперь успокоился?

Можно было бы здесь написать: «Ни один мускул не дрогнул на его лице». То есть на моем. Словно я и до этого знал. Конечно, знал! Только что толку?.. Я повернулся и медленно пошел прочь. Отец вскочил, поймал меня за рукав.

— Когда Арсана, которого считаю своим братом, проливал кровь за Родину, Арутан в Сибири спасался!

— В лагере, за колючей проволокой!

— Ага, невинного засадили! В последнее время на всех, кого до войны посадили, что-то стали смотреть как на ангелов. Да, были несправедливости. Но Арутана упекли правильно.

— Ты уверен, что он ограбил кассу и поджег сельсовет?

— Послушайте, что он мелет! Тоже мозги набекрень, как у Чокнутого! А ты не веришь?

— Я теперь никому и ни во что не верю.

— Тьфу! Как был врагом самому себе, так и остался... Арутан не захотел по-людски жить с людьми...

— С людьми! Которые однажды оболгали, а потом и честь растоптали!

— Ну иди донеси... Скажи, что знаешь, кто дал Бадзу пистолет! — Отец отбросил сигарету и брезгливо раздавил каблуком.

Нет, он ничего не понял. Обмелела река, когда-то делившая людей на завистников и честных, все смешалось, и перестали они понимать друг друга...

— А скажи, почему так не любит тебя невестка Арсаны?

— Бадз показал себя настоящим мужчиной. И я помог... Женский ум короток, суетен. И у тебя такой же. Мой друг Арсана...

Я не дал договорить:

— Твой друг Арсана! Если друг, то чище его уже нет... Я не оправдываю Арутана, но ведь и ты знал, что он и Мсыгуда любили друг друга. Твердишь о дружбе... Что же не остановил своего друга?

— Ты, сопляк! Распустил тут сопли! — Он так заорал, что я испугался, — Бадз отвел позор от отца... Но я и о тебе думал, дурак! Дочь Арсаны... Ты спросил меня, хочу я или нет видеть ее невесткой в моем доме? Целовать в лоб, говорить: «Умереть мне вместо тебя...» Ввести в дом дочь человека, с которого не смывает позор. Ради тебя, твоего же добра я пошел на злое дело. Не было иного выхода, — Он встал, — Иди домой, мать волнуется. А мне в сельсовет, опять кого-то надо мирить...

Отец еле волочил ноги, сутулился как старик. Вспомнилось: мальчишкой, мне года четыре, играю во дворе, отца все что-то нет и нет, но вот входит в калитку, и я опрометью мчусь навстречу. Отец кричит, чтоб остановился, лицо испуганное: упаду, разобьюсь... Подхватывает меня, я обвиваю его шею руками!

А сейчас мы так далеки, и не знаю, что ему сказать. Не хочется видеть и мать...

Граб весь облетел. Ветер обрывает последние желтые листья. Туча надвигается с моря... Зачем я с отцом затеял этот разговор? Унизительные, бессильные слова — как холостой выстрел... Чем тяжелей мне становится, тем мучительнее желание встретиться с тобой, Адица. Чтобы задать единственный вопрос: «Почему?» Вот я стою на поляне, возле нашего граба, обдуваемого со всех сторон ветрами, и говорю: «Мы слабые люди, Адица, не сумели защитить свою любовь. Вчера танцевали на чужой свадьбе... Почему не взяли за руки и не ушли прочь, вдвоем?»

Слышала, что сказал мой отец? Хотел, чтобы мы поженились лишь после «очищения»... Дикари! Не запрещал произносить твое имя, потому что знал — наступит день, прольется кровь, и тогда он распахнет перед тобой дверь своего дома. Ни я, ни ты не помешали

ему... Мы оба слепцы. И такие же дикари!

Если вдуматься, я делаю то же, что он. Только по- своему. Кто знает, куда меня заведет. Во мне кровь отца... Когда, бросив меня, ты убежала с Маджганой, моя мать нисколько не удивилась: «Дочь Мсыгуды и не могла иначе!»

А ведь вы и внешне — как две капли воды!

Выберусь из водоворота, подплыву к берегу — тут же накрывает догнавшей волной. Воспоминания, воспоминания!.. Слышится голос Мери:

— Алиас, она вышла за другого, желая тебе счастья.

Чтобы дерево лучше росло и плодоносило, хватают топор. И — под корень!

Я поднялся на холм. Далеко внизу остались голый осенний граб и Апсара. Крикнуть бы отсюда, с холма: «Я не хочу вас знать! С вашей честью и совестью!»

Кто более свободен: тот, на кого надели кандалы, или тот, кому заткнули рот кляпом?

Да, мать только усмехнулась... Но когда разъярится, становится злее рыси. Помню, пришли гости в отсутствие отца. Надо было поймать и зарезать петуха — я гонялся за ним по всему двору, подманивал кукурузным зерном. Петух не давался в руки. Мать зашла в дом и вернулась с ружьем. Дождалась, когда петух усядется на заборе, и выстрелила. Не столько ее меткость удивила, сколько то, как преспокойно она переломила ружье, вынула гильзу и дунула в ствол. А я думал, и в руках никогда не держала!

Я не пошел домой.

Заявил отцу, что ни во что и никому не верю. А как верить? С чего бы, к примеру, Арутану грабить колхозную кассу и поджигать сельсовет? Кто видел его за этим занятием? Никто. Да вот сознался в конце концов!.. Нет, один все-таки видел. Есть в деле фамилия человека, жившего неподалеку от сельсовета. Сейчас уж, конечно, умер. По его показаниям и взяли Арутана... Сперва свидетель говорил про свою корову, которая должна была вот-вот отелиться и не вернулась вечером домой. Хозяин пошел искать. Издали на тропе увидел парня в белой рубашке, в шляпе. В руке черный портфель. Оглянулся и кому-то помахал шляпой... Человека свидетель как следует не разглядел, да и видел со спины. Тут у сельсовета ударил выстрел, в небо поднялось зарево. Это сельсовет горел. А стрелял сторож. Сбежался народ. Утром из района прикатила милиция, людей опросили. Хозяин коровы сказал, что в полночь встретил незнакомца в белой рубашке и в шляпе. Шел в сторону сельсовета, а зачем — неизвестно. Кто такой, люди сразу определили: студент Арутан, он один ходит в шляпе и носит черный портфель...

Пришли в дом к Арутану. Действительно: белая рубашка на спинке стула, шляпа на столе. И портфель тут же — никуда не делся. А сам спит.

Все сходится!

Кассира тоже давно нет в живых, на войне сложил голову. Портрет на Доске почета. Он-то что, тот кассир, что рассказывал следователю? Из района привез сто десять тысяч, в конторе дожидались пастухи Гудиса и Апта. Дело к вечеру, ведомость не оформлена. Приходите завтра... Кроме пастухов был и Арутан, пошутили насчет того, у кого в

портфеле что лежит. «На такие деньги я бы и институт, и аспирантуру закончил безбедно!» — смеялся Арутан. Гудиса: «Были бы у меня — отдал. Учись на здоровье!» Пошутил и Апта: дескать, чего ты, Арутан, пялишься на казенную сумку? Вырви да беги!.. Деньги кассир запер и — домой. А может, и дома не был? Кто теперь скажет! Главное, вне подозрений, чистым вышел. Как и Гудиса. Остается Апта..

Арсана хорошо сказал об Арутане: «Я знал про него и Мсыгуду. Невозможно, мир перевернулся, чтоб в одном человеке такая любовь уместилась с подлостью!» Невозможно... Спрашиваю себя: а ты, Алиас? Когда узнал о коварстве невесты, трое суток куска в рот не брал, исстрадался, черной тенью для тебя накрылся мир... какой чистой, высокой любовью жил! Но взгляни на свои руки. В крови... В крови Алхаса. Вы оба чудом спаслись! Отчаяние помутило тебе рассудок и душу. А что Арутана толкнуло бы?.. Лишь под утро вернулся домой, и мать подтвердила... Но нет, ни единым словом не выдал любимую, с которой провел ту злосчастную ночь, не назвал ее имени! Так кто же остается?

Договорились с Мироном, что утром зайду. Ему — в Сухуми, подбросит до лесопилки. Рассказать о своей заботе? Что хочу разобраться в давней истории. Что отца его подозреваю... Не оправдаются подозрения — потеряю друга. А если правда?

Я шел мимо памятника погибшим на войне. Это возле сельсовета, и ты, конечно, не раз видела его. Впрочем, говорят, редко выходишь из дома — сидишь, как заперти, и поджидаешь мужа...

Верхушку холма срезали бульдозером и на образовавшейся ровной, точно двор хорошего хозяина площадке поставили женскую фигуру на гранитный постамент. Поговаривают, скульптор лепил с Мацкуи... Памятник еще не завершен; имена, фотографии погибших... Я нашел братьев Мацкуи: Амиран, Ардашил, Арзакан. И даты рождения и смерти. Повсюду разбросаны куски засохшей извести. Я подобрал обломок и рядом с именами братьев нацарапал: «Мацкуя».

Застекленная Доска почета пряталась под навесом. Участники революции, активисты коллективизации — слава и гордость апсарцев. В самом центре фотография Апты Парновича Тыкубы. Сколько ему было, когда погиб? Немного: тридцать пять. В бурке, башлык до бровей. И глазенки как у барсука, который вот-вот залезет в амбар... Я даже огляделся по сторонам, будто вслух это сказал про славного Апту. Всю жизнь твердили: герой! И я верил. А объявили бы негодяем — презирал бы так же бездумно...

Родник, пробившийся из земли, не потечет назад.

Мирона дома не оказалось, уехал. Забрал жену и ребенка из роддома и отвез к своим городским родственникам. Не было и матери, дверь закрыта. Верно, ушла к Чокнутому, соседу, у того еще свадьба... До недавнего времени стояла во дворе развалюха: кухня с очагом и тесная комнатка. И вон какую хоромину отгрохал Мирон!

Я заглянул сквозь плетеную стену... «Если увидят, скажу, что хотел выпить стаканчик вина. Кто не поверит!» Горлышки зарытых кувшинов торчат, присыпанные землей, у задней стены длинное деревянное корыто, в котором еще Апта, закатав штанины топтался, давил высыпанный из корзин виноград... На гвозде запыленное седло: ни разу не видел Мирона на лошади. У него машина. А дров привезти — трактор.

Кувшины большие зарыты — видно по тому, как еще и соломой у каждого обмотана

горловина. Один кувшин распечатан, и черпак рядом. Наверно, Мирон открывал по случаю рождения сына. Не будь замка на двери, и вправду зашел бы и выпил.

Ореховый сад стоял в легком тумане. Здесь по обычаю зарывают моленные кувшины. Перед возвращением в горы, говорил Гудиса, хозяин зачем-то перекопал один из них... Только в спешке это не делают, а молитву творят!

Вот этот, накрытый медным помятым чаном... Вряд ли. Апта торопился: закопал и лишь землей присыпал. Думается, и в давилъне не схоронил среди прочих, больших. Может, под деревом зарыл? А под каким?..

Зимнюю яблоню посадишь — разве что внуки дождутся. Растет медленно, но живет долго. Под одной такой яблоней белел замшелый камень. Я взялся обеими руками и потянул. Куда там! И пошевелинуть не смог. Вспотел от натуги и больше всего боялся, что одолею, выверну из земли.

И будто со своей души камень отвалил, когда убедился, что никакого кувшина, а лежит себе этот валун, наверно, еще со времен первого махаджирства.

Я сел на камень и вытер пот с лица.

За ореховыми деревьями, в конце кукурузного поля, крепился кособокий дуб. Когда-то здесь был сплошной лес, дуб же поленились срубить, и вот стоит он, весь обломанный, с одной-единственной ветвью, склонившейся над полем Мирона. В стволе старых дубов не счесть дупел, бывают такие, что и человек заберется...

Я подошел. Боже, как его земля держит, чем жив? Весь в дуплах! И в комле дырища, устлана привядшим папоротником. Свисает паутина с застрявшими в ней опилками, в нескольких местах порвана... Вновь меня охватил непонятный горький страх. Чего я здесь брожу? Время все похоронило, заткало паутиной...

Я перелез через ограду и вышел на дорогу.

Оглянулся. Как настезь раскрытые врата ада, темнел зев дупла. И будто бы холодом тянуло... Не быть мне Шерлоком Холмсом. Тот и бровью бы не повел, если б приставили к виску пистолет! Ради истины не пощадил бы собственной жизни. Я же истерзался, душа в пятках. Не за себя — истины боялся! А за себя... Не такой уж я трус. Сидеть мне вместо Фрица, кабы не удержали, когда выбил мне зубы. Слабейший и придумал оружие, первым поднял камень.

Увидел бы Мирон, как шаستاю по саду, перелезаю ограду, — до смерти бы удивился.

Говорит, я чокнутый. Понаписано про любовь, что и с солнечным лучом схожа, делает добрей и нежней, и с ветром, и с морем сравнивают... Коли так, то во мне ненависть, а не любовь. Не я бросил тебя, Адица, но, как корова отгоняет от себя чужого теленка, так и меня вышвырнула Апсара. Потерянное уже не найти, лучше сохранить, что осталось...

К вечеру я был в заводском поселке. Во дворе играли дети. Зажглись фонари, свет в окнах. Не заходя домой, заглянул к Петровичу. Дамш бросился ко мне, чуть не сшиб. Я сжал его морду и присел на корточки. Если б не Петрович, опустился бы перед Дамшем на колени: знаешь, как трудно, когда одинок! Ничего не надо, только поговорить по душам...

Семейство Петровича — сам да жена-пенсионерка. Еще маленький внучонок. Приду — сядем с Петровичем на кухне, разговариваем, курим. Разговоры обыденные. В основном говорит он. Что ж, и это неплохо. Если самому не с кем отвести душу, то хоть другого послушать... Есть такие люди, себя не навязывают, и никаких высоких материй, а вроде жажду утолишь, как из родника напьешься. Возьмешь иную книгу, полистаешь: придумано, небылица на небылице. А вот бы за Петровичем записать! Об Абхазии знает больше, чем наши писатели.

Отец Петровича был военный, с семьей поселился в абхазском селе, укоренился. В те времена великий разор и закоснение царили, крестьянские дворы бурьяном зарастали, безлюдье... Целые села уводили за собой местные князьки в туретчину, грузились на фелюги, навсегда уходили, заваливали родники, умерших хоронить было некому. Пасеки дичали в лесу, и крепчалло вино в зарытых кувшинах, дожидаясь хозяев. Но судьба никому не сулила вернуться... Рассказывал Петрович и о восемнадцатом годе. О боях на реке Кодор, в которых участвовал. Рассказывал и — поскольку дело давнее — подшучивал над самим собой и над местными нравами. Только круглый спесивый дурак мог бы обидеться.

В тот вечер я хотел все, все забыть. Не говорил с Арсаной. Не слонялся по саду Мирона — как тот, кто друга своего обокрал. Не был на свадьбе у Чокнутого, на которую никто не приглашал...

И лучшее средство забыть и забыться — выпить.

— Вы, абхазцы, все друг другу родственники, — меж тем говорил Петрович. — И был такой случай... В восемнадцатом году Советы в Абхазии долго не продержались, задушили меньшевики. Сначала мы турнули их из Гагры, из Гудауты и дошли до Кодора. Встали на берегу. На одном мы, на другом они. Перестреливаемся... Лежит рядом со мной абхазец, стрельнет и во весь голос, а глотка что надо, орет что-то. На том берегу слышно. «Пусть боятся моего мужественного голоса!» — смеется. Пусть, думаю. Пользы нет, ну и вреда никакого. А с того берега в ответ: «Эй! Это ты?» — «А то кто же еще!» Я тяну его за полу черкески: пули над головой посвистывают, убьют ни за что ни про что! Брыкается: пусти, это мой родственник! «Да ведь меньшевик!» — «Меньшевик, большевик — я не знаю. Знаю: родственник!» И что ж ты думаешь! Прыгнул в воду и поплыл. И с того берега — тоже. Встретились на середине. Мы думали, сейчас к нам повернут. Ничего подобного! Кричат друг другу, хлопают по плечам... А течение сильное, сам знаешь. Далеко их отнесло, из глаз скрылись.

К нашим, апсарским, высоким словам о родстве, об отце и матери, о любви к родине я добавил несколько стопок и почувствовал себя сиротой. И такое поднялось в душе... Не то чтобы тоска, а грызение, что сдуру не зашел к матери, не повидал. Что я наделал!

— Петрович, ты ведь любишь Дамша? — спросил я.

— Умен, как человек! Ты потише, сидит пока спокойно на веранде. Услышит — подумает, что зовешь. — И приложил палец к губам.

— Хочешь, возьми. Дарю!

Я подошел к окну. Вдруг вспомнил; а хозяйка, с которой я... Одна, ждет меня? А может, пока я тут у Петровича, у нее гость? И затосковал по дому. Ждала мать сына — не дождалась... Да и с отцом расстались, лучше бы не встречаться. Помнишь, Адица, на свадьбе Чокнутого тост одного старца? С закрученными усами, в черкеске с газырями.

Сидел рядом. Я удивился, когда он за меня поднял стакан. Старик это заметил.

— Что такое, дад? — сказал он, — Из уважения к твоему отцу. Ты хорошо танцевал, я спросил: кто этот молодец? И мне объяснили, чей ты сын... У настоящего мужчины не может быть плохих сыновей. Будь благословен, дад! Я хорошо знаю твоего отца. Он старого закала и таким проявил себя в дружбе. Если б не он, до сего дня пятно позора лежало бы на Арсане. Будь, дад, достоин своего отца!

— Слушай, Петрович, — сказал я, беря сигарету из пачки на столе, — вот скажи, что мне дало, что нарек Самсона Григорьича Фрицем? Лучше мне стало? Веселее? Засмеяться не могу — рот-то беззубый!.. Рукой закрываюсь. Подступит смех, я душу его, затыкаю. Как те махаджиры свои родники. Так и живу. Говорят, ласковый теленок двух маток сосет... Береги Дамша, и он тебя в обиду не даст.

— Ладно, иди, завтра поговорим, — Петрович насупился обиженно. — А сейчас одно скажу: твой этот Самсон не один на заводе.

Я дотащился к себе на этаж, открыл дверь своим ключом. Хозяйка приподняла голову с подушки: нет ли Дамша со мной? И заулыбалась, очень была довольна, что не привел. Даже за апсарскую грязь на ботинках не попрекнула. Целуя, откидываясь на спину, бормотала: «Что ты, подожди, разденься сперва...» Я, в легком веселом хмелю, тоже что-то шептал — дескать, лучше ее нет, люблю. Попытался взять на руки, и не вышло: тяжела.

Никогда прежде не было у нас такой ночи!

Как жернов, лежал в постели, устало следил за набегавшими мыслями: «Выбить бы зубы и тому библейскому змию... яблочком сманил глупую нашу праматерь! А праотец? Где он был? Или ослеп в райском блаженстве?.. Добро — зло, порок и непорочность... А мудрый дьявол прикинулся змием и раскрыл нашим прародителям глаза, что живут, своего срама и сладкого соблазна не замечая, сбил дураков с пути!..»

Это я думал, наверно, вслух, потому что женщина, у которой примостился под бочком, сказала:

— Ты о чем?

— А про змею. Здо-оровую сегодня видел!

— Тебе все равно от нее не уйти! — Зажгла ночник и близко заглянула в лицо: — Это ее сравниваешь со змеей? Чего ж тогда во сне и наяву бредишь ее именем?

— Скоро пройдет. Детская болезнь... Не я один, все перебаливают. Коклюш! — И дальше громоздил отчаянную чепуху: — Давай завтра в загс, прямо с утра? Появятся дети, вырастут, будем к ним в гости ходить. Потом внуки...

— Дурачок ты мой сладкий! Сколько об этом говорить?.. Живешь со мной и живи. Можешь и зарплату себе оставлять. Одно прошу — не приводи собаку.

— Сегодня был у Петровича, выпили несколько стаканов...

— У Петровича? — Ей не понравилось. — Он тебе, конечно, все сказал...

— Конечно, сказал! Никакой тайны, все знают!

Что я имел в виду? О какой тайне, которая перестала быть тайной, молол языком? Ничего не имел, просто молол — моя слабость.

— Ну, знаешь... Часа не побыл.

— Кто? — спросил я, хотя сразу догадался. И не испытывал ни малейшей ревности.

— Не обижайся. Ты ведь знаешь его...

— Семейный мужчина?

— Ну, опять начал, — она вздохнула и отвернулась.

«Часа не побыл». Будто на это дело требуется большое время... Помнится (я жил тогда в одной из комнат), в дверь позвонили — короткий и два длинных. Откуда было знать, как они меж собой условились? Потом, услышав знакомый трезвон, сразу уходил к себе. Какое мне дело, кто навещает хозяйку! А спустя несколько месяцев, когда уже спали в одной кровати, закатил скандальчик — ревность не ревность, но какого черта делить с кем-то постель! «Семейный человек, а вы встречаетесь... Нехорошо». — «Раньше было, а теперь все кончено». — «А зачем же таскаться?» — «Просто как друг». — «Ха-ха! Дружеские отношения... Семью разрушаешь!» — «Его жена знает». — «Что забегает к тебе на полчаса по старой памяти? Ничего себе! С одним — ночь, с другим — полчаса... Бессовестно!» — «А с чем ее едят, эту совесть? Живу, как хочу. И вообще мы любим друг друга. А почему не вместе, не твоего ума дело! Остались зато хорошие воспоминания. И у него. Встретимся раз в два месяца... Чего ты привязался, мы с тобой муж и жена, что ли?» Крыть было нечем, а последнее и вовсе пришлось по душе. Забываясь, шептал ей нежные слова, и она такие же в ответ, но про себя думал, как бы не привыкла ко мне!

А сейчас, честное слово, верил, когда молол вздор насчет загса и прочего:

— Распишемся и, знаешь, куда-нибудь на месяц... В свадебное путешествие по морю!

— Ты выпил лишнее, спи.

— И завтра скажу! Завтра же подадим заявление.

— Повесься — не пойду за тебя! Семья, замужество, дети... Мало меня, зачем тебе пути? Живешь и живи. Ну и наговорил на меня Петрович! Когда вышла на лестницу друга проводить, твой кобель сидел на площадке. Уши торчком, нос наморщил... Мой гость не мог выйти на улицу.

— Ничего мне Петрович о тебе не говорил!

Хотел добавить, что увижу еще хоть раз этого «семейного»... но вспомнил, как мы танцуем с тобой на свадьбе Чокнутого, вспомнил твое вспыхнувшее лицо, и все померкло и смешалось в душе. А потом Мери... «Она вышла за Маджгану, чтобы ты был счастлив!» Что вышла — понятно, а насчет моего счастья... Это понять покамест ума не хватает.

Да, танцы, свадебные песни... Заметила, как Чокнутый вырядился? А что сказал —

помнишь? «Вы, апсарцы, зовите меня по имени, иначе невесту обратно домой уведут! У вас же у всех мозги набекрень!»

Ладно, спать, спать... Как это Мери взбрело на ум? «Чтоб ты был счастлив...»

Я проснулся еще до рассвета. А во сне видел Дамша... Лежал и думал, что сей сон значит. Дамш рычал на меня! Будто бы какой-то двор, зеленая яркая трава, пес ждет меня. Так мне кажется. И я торопливо подхожу к воротам, открываю... И тут Дамш набрасывается. Да с каким остервенением! Захлопываю и снова приоткрываю. И опять он накидывается! В растерянности, недоумевая, зову: «Дамш, Дамш!» И слышу злобное рычание...

Я вышел на веранду. С вечера закутанные тучами, голубели горы под чистым небом. И ослепительно сверкали снежные пики. Воспоминания о дурном сне отлетели... Я был как растеньице, омытое дождем после изнурительной жары.

Женщина спала. Ей на работу со второй половины дня... Умница: лишь посмеялась над моими вчерашними шальными страстями. Предлагал руку и сердце! Она права, ничего нет на свете дороже свободы...

По дороге на завод не хотел, а вспомнил старика Гудису и в душе укорил. Он не был со мной откровенен до конца. Как и ты, Адица, — позволяла себя обнимать, а думала о Маджгане... Старик толковал о боже, которого люди сотворили из дьявола, зная между тем, какой «подвиг» совершил Апта. Знал и утаил!

Я прогнал старика прочь...

Но явился перед глазами затравленный Арутан... мечется... встречные шарахаются от него, как от бешеной собаки...

Отец откидывает бурку, вытаскивает из-под ремня пистолет, протягивает Бадзу...

Алхас садится в машину с испорченными тормозами...

Волокут грешницу на праведный суд... Отцы семейств, закоренелые праведники! Почему же не забросали камнями несчастную?..

Не думай, Адица, что мне все опостылело. Если замшел сруб, пить из колодца не перестают. Я ни на кого не в обиде. Люди таковы, каковы они есть... Хорошо сделал, что отдал Дамша Петровичу! Иду себе, добрый, свободный, безмятежный. Земля легка под ногами, небо над головой высокое... Лишь одно не дает покоя. Бог свидетель, ничего я не писал на Самсона. Выбил мне зубы — не пожаловался. Пусть выручают друзья и директор, которые души в нем не чают. Бригадир паркетного цеха сказал, что заводу Самсон обойдется в сотню- другую кубов первосортного леса. «Это живого убьет, мертвого воскресит!» — И потер пальцами.

Ладно, сейчас прямиком к директору, прошмыгну мимо кабинета парторга, которого Фриц и этот, потиравший палец о палец, называют кляузником, — на глаза ему не покажусь... Прямо к директору. Увидит меня и тут же схватится за телефонную трубку. Дунет в нее и положит обратно. Не успели древние греки додуматься, а то подсунули бы телефончик Антею. Покуда сидишь у директора и разглядываешь его шишковатый лоб, не раз и не два сорвет трубку, подержит возле уха и с силой швырнет на рычаг. Вот я тоже войду и сразу за телефон... Директор глаза выпучит или как? Эх, зачем говорить о том,

чего не сможешь! И все-таки мне позарез надо к шефу, с глазу на глаз покалякать при закрытых дверях. Подойди-ка сюда, к окну, скажу ему. Видишь те горы? На вершинах уже снег, а подножия в густой зелени. Возле гор лежит мое село Апсара. Знаешь, какие были леса! Бук, граб, дубы... А повыше в горы — самшит. Слышал о таком? Под охраной государства, запрещено рубить. Постой, не хватайся за трубку, зачем она — я одарю тебя силой! Войду в вашу камарилью, сволочи, — вам же польза. Вы тут с Самсоном Григорьевичем ловко разбазариваете лес, а разве дурак был некий Ходжа? Потешаются над ним, что и сам схватился за козы рога, когда воры угоняли скот со двора. И напрасно потешаются. Лучше было бы, если бы последней козы лишился? Давай спокойно поговорим. Я, конечно, извиняюсь... Сделаю, как вы хотите, напишу куда следует и вместе выручим Самсона Григорьевича. Но и с вас будет причитаться. Ну, «Победы», пожалуй, много, а «москвиченок» как раз... В самом-то деле, если уж Мацкуе досталось от войны, хотя не воевала, так Фриц и вовсе ни в чем не повинен! Даже герой — отбилась от лагерных немецких овчарок. Со вчерашнего дня уже ничего не связывает меня с Апсарой. Позади пустота, и надо смотреть только вперед...

Вот в таких размышлениях я вошел в заводской двор, освещенный осенним утренним солнцем.

Сторожу, ближайшей родне самсон-григорьевичей, которого раньше, как говорится, в упор не видел, я приветливо улыбнулся и отвесил поклон.

— А ты поумнел, парень! — ослабилась сторож, протягивая для пожатия руку. Протянул и вдруг за спину спрятал. И улыбочка с лица стерлась. Позади я услышал чье-то тяжелое запаленное дыхание. Едва успел обернуться, как Дамш со всего маху кинулся мне на грудь.

Только что такое? Мой Дамш здорово прихрамывал на переднюю лапу. Петрович живет не на первом этаже, и если открыл окно... Значит, Дамш выпрыгнул. Так истосковался, так ждал меня! Я не приласкал, не обнял за шею, а даже пнул от злости. Вот навязался!..

Сторож высунулся из своей будки — спрятался от греха, увидев собаку.

— Ты давай к директору, вызывает.

— Какой еще директор? Животное ногу подвернуло!

— Тебе директор самому подвернет! Мне плевать на твою правду-матку, товарищ... В цех не кажи носа, а то придется гроб заказывать. Из того самого леса, за который печешься. Ребята уж сколько без премии! Подведут тебя под пилу, или будешь сидеть вместо Самсона Григорьевича. «По собственному желанию» его местечко займешь! Живенько для тебя опростается. Хе-хе...

Я плюнул. И погладил Дамша. На цепь его посадил. «По собственному желанию» я уже покинул Апсару. С меня довольно.

Я прошел мимо секретарши, распахнул дверь, и первое, что увидел, были сверкающие очки парторга.

— В кабинет заходят, спросясь у секретарши. Или постучав. Дикарь! — недовольно сказал директор.

Парторг молча пожал мне руку. Это прибавило сил.

— Посиди в приемной, потом зайдешь! — Директору не нравилось присутствие парторга, но я остался.

— По-моему, никакой тайны нет? — сказал парторг.

— Нет, конечно, откуда тайна... Думал, лучше мы вдвоем обсудим, — потянулся было к телефону и отдернул руку. — Тебя как? Алиас? Тут звонили, понимаешь... В Сухуми тебя вызывают. Срочно. Вчера прокурор нашел мой телефон, позвонил, что ты должен быть у них утром. Я ответил: мой работник ни на кого не жалуется... Или я неправду сказал, Алиас? Ты не жалуешься?

Я молчал. И совсем не по той причине, как, наверно, решил директор. За разбитую морду мстят не жалобой. Это недостойно. Но оказалось, директор был не так глуп.

— Из-за мелкой драки зачем поднимать шум? — поморщился он. — Назначим товарищеский суд, сами уладим...

— Дело Самсона Григорьевича, может, и не решится одним товарищеским судом, — заметил парторг.

Вот именно, подумал я. Дело не в моих выбитых зубах.

— А каким другим?.. — Директор заерзал, снова его лапа легла на телефонную трубку. Потискал и отпустил. Оторванный от земли, Антей лишился последних сил.

— Другие органы заинтересовались.

— Не знаю, не знаю... Одно ясно как день: посадили Самсона и план упал! Ты не подписал его характеристику, я один подписал и отправил. Слушай, что говорить — примерный работник! Шофером еще в передовиках ходил. Назначили бригадиром — бригада впереди оказалась. Кто может по снабжению сделать больше него? — И ткнул в мою сторону пальцем, точно штыком. — Зол я на этого... Какому человеку подстроил провокацию! Провокатор и больше никто. Когда ненавистные фашисты пришли, чтобы отнять у нас горы, наши родные леса, кто встал против них, не щадя себя? Настоящий патриот Самсон Григорьевич! — Теперь директор вылез из-за стола и пробежался по кабинету. Он чувствовал себя как на трибуне, потому и руку вскинул. — Наш долг изгонять из советского общества кляузников, оскорбляющих честных коммунистов!

— Ладно, ладно, — успокоил парторг. — Выяснят.

Директор отмахнулся:

— И что этот несчастный с ним не поделил? Словно из дремучего леса... Слушай, твоя мать хорошая крестьянка, была у меня, просила, чтобы следил за тобой, сказала: единственный сын. Только ради нее... А то бы упек за клевету, честное слово! — И с такой яростью стукнул кулаком о кулак, что, если б не в кабинете сидели, живым бы мне не осталось.

Так я и не сказал ничего... Утерся и вышел за дверь. А что людям мешало защитить Арутана? Могли образ поцеловать, поклясться, что не замешан в гнусном деле! То-то, что

могли... Кровь апсарцев течет в моих жилах!

— Вы не отказываетесь от своего заявления? — спросил следователь.

— Нет! — И сам удивился, как жестко прозвучало.

— Еще раз напомню: «Будучи в концлагере, Самсон Григорьевич Куланкуа перешел на службу к немцам». Под этими словами стоит ваша подпись. Вы по-прежнему?..

— Нет, не отказываюсь.

— Подследственный Куланкуа утверждает, что подобных обвинений не слышал от вас и поспорились вы совершенно по другому поводу.

— В нашем селе живет один человек, которого называют Чокнутым, — сказал я. — Что бы ни говорили, все воспринимает наоборот. Выходит, и Самсон Григорьевич вроде нашего Чокнутого.

— Как вы назвали? Чокнутый? Все наоборот понимает? — Следователь засмеялся и похлопал меня по плечу. Можно подумать, мы давние друзья. — Вашу собаку надо медалью наградить... А вам поставить магарыч! Какое дело раскрылось! Думаешь, зачем тебя вызвали? — Он перешел на «ты». — Прибыли двое представителей Закавказской военной прокуратуры... Посиди здесь, я сейчас. — И вышел.

Со стены на меня строго взирал Дзержинский. Я походил вокруг стола, потом сел на место следователя. Взял ручку и придвинул к себе какую-то бумагу. «Сейчас поставим резолюцию...» Сажу за высоким столом в здании, от одного вида которого холодеет под ложечкой. Поднял телефонную трубку. «Алло, Адица! Десятый раз звоню. Откуда?.. Из своего кабинета!» Говорят, Дзержинский с первого взгляда мог определить, что у человека на уме. Взглянул бы он хоть раз на Самсона Григорьевича...

Вернулся следователь. Будто солнышко играло на его лице.

— Завтра в девять утра. Зайдешь ко мне, я отведу. И без опоздания! Военная дисциплина. Ты служил в армии?

— Танкист первого класса! — соврал я. Сам себя не похвалишь — никто этого не сделает.

— С завода не успеть. Переночуешь у меня. В шахматы сыграем, поговорим...

И вдруг я почувствовал, что кто-то другой, вместо меня, битый час тут сидит, и — самое гадкое и непонятное — с подобострастной улыбочкой. Приведет к себе, подумал я, выпотрошит, а потом... Самсон Григорьевич, наверно, уже умастил его!

— Чему удивляешься? Я рассказал жене, как ты расколол преступника, натравив на него собаку. Жена чуть со смеху не умерла! Сказала, что это новый метод в криминалистике!

— Вовсе я не натравливал...

Зазвонил телефон, следователь схватился за трубку.

«Ловушку готовит», — снова подумал я.

Утверждают, язык дан человеку, чтобы скрывать мысли. А у меня и мозги, и язык устроены не так, как надо. Выбалтываю, что на душе.

Чего он весь светится? Нет, это точно — Самсон порядком его подогрел... Запутают, обвинят в клевете...

— Спасибо за хлеб-соль. Завтра я приду вовремя. — По-моему, я поклонился, пятясь к двери.

Следователь прикрыл трубку ладонью:

— Слушай, не упрямясь. Хорошо поговорим, посидим.

— У меня в Сухуми есть два-три места, куда зайти. Спасибо.

И это все с той же улыбочкой! Тьфу!

Правда, сообразил, что может потребовать адреса. Хотя, если приглашает домой, не так уж плохи мои дела.

Он положил трубку. Пожал мне руку и опять похлопал по плечу.

— До завтра! Ровно в девять.

На улице я пришел в себя, сжевал с губ постылую улыбочку и выплюнул. И постоял, прислонившись к дереву. Мимо по Бесплетскому мосту мчались машины и, одолев подъем, сворачивали на магистраль. Мне почудилось, что я в отцовском дворе возле амбара, вечерет, летучие мыши проносятся в сумраке и взмывают к небу. Иногда их крылья задевают мне голову. А я совсем-совсем маленький, и мне страшно. Но не двигаюсь с места. Отвожу руку назад и крепко перехватываю другой. Сам себя держу... Это в детстве. А теперь? Соврал следователю... Испугался или благоразумно удержал себя.

Я долго бродил по городу. Решил было зайти в студенческое общежитие, но представил, как встречу кого-нибудь из бывших одноклассников-апсарцев, и передумал. Кто не знает о наших с тобой отношениях! Начнутся расспросы... Удивительная особенность у апсарцев — соболезнавать человеку, чей родственник скончался сто лет тому назад! А потом, этот случай с Алхасом... Теперь у всех на языке! Не иначе Маджгана разнес.

Пойду где-нибудь перекушу и засяду в библиотеке. До закрытия. А где переночевать — особо не колышет. В парке на скамейке или на вокзале.

Раньше было легко с людьми. Любой человек понятен. Нравится — не нравится... Вот и все, никаких проблем. Как у моего Дамша. А сейчас, когда весь в синяках и ссадинах и малость, кажется, поумнел, перестал отличать честного от подонка. Черт его знает, кто он такой! Скажем, следователь. Хороший человек или дерьмо? Когда посадили Самсона, весь изъюлился, и так и сяк подбирался ко мне. И выудил, чего я и говорить не думал! Потом натянул строгость на лицо: будто я пустил в ход кулаки, и не Самсон, а я расхаживал с овчаркой по плацу в фашистском концлагере, я, а не кто другой, сбываю на сторону самшитовый лес целыми машинами... Нынче же — сама любезность, заговорил о магарыче, домой приглашал! Чему он радуется? Что благодаря мне вышел на крупное

дело? Пока речь о выбитых зубах... Замять ничего не стоит! Родственники и дружки Самсона за один день соберут больше, чем было в апсарской колхозной кассе! Сунут следователю. А он еще выше... Я сам открыл ему дорогу наверх. Как когда-то посадил Адицу в машину Маджганы, точно передал из рук в руки. Теперь вот... А почему бы следователю не поставить мне магарыч? В любом случае останется в выигрыше. Солнце всю землю разом не осветит: на одной половине день, на другой ночь. Так и пресловутое счастье: кому-то искрошили зубы, а следователю — громкое дело.

Я шел по улице, недалеко от набережной, насвистывал и ни о чем больше не думал. Ни о тебе, ни об Алхасе, который где-то ковыляет, опираясь на палку, ни об Арутане, ни об Апте. Даже забыл о матери, что не попрощался. Не знаю, что завтра, а сегодня, слава богу, свободен. И вообще оставил бы ты, Алиас, чепуховую суету и радовался, что жив-здоров. Небу, светлomu морю, потому что кто знает, что будет завтра. Даже тот, кто принял ради людей мученическую смерть, ничего для них не смог сделать. Не морочь себе голову, лучше иди и выпей пивка. Может, чешское попадется...

И как это я оказался словно посреди Апсары? Вот уж не ожидал!

Проходил мимо дома — стены сплошь из стекла, никаких занавесок, да еще свет зажгли среди дня — и оторопел: будто все женщины нашего села собрались и смотрят на меня. Из-за столов, из-за швейных машинок... Все в белых халатах. Когда ты один, а их, женщин, много, то сколько насмешливого пренебрежения в их взглядах! Каждая уже не сама по себе — в стае, и какая-нибудь замухрышка-тихоня нос задирает... Я точно голый стоял на тротуаре и не знал, куда деваться. Вдруг показалось, и ты среди усмехавшихся женщин. Этого быть не могло. Я опустил голову и поспешно отошел. Что-то навалилось на плечи и придавило... Узнал я эту женщину, и если скажу, что обрадовался и снова любовь к тебе закружила мне голову, то совру. От ярости едва дыхание перевел. Жаль, нет закона, по которому предавали бы суду таких, как она... Мсыгуда догнала на улице. Услышал шаги и обернулся. А помнишь, как прятались, когда замечали ее на дороге? Твоя мать невозмутимо проходила мимо: «Не думайте, что не вижу!» И улыбалась. А ты ругала меня за то, что высывал голову, взлохмаченную, как у удода.

Мне и сейчас почудился настигающий зов: «Подождите, я же видела вас!» Такой нежный, сквозь улыбку голос... Ну что же, она — женщина, вышла поговорить.

— Как поживаешь, Мсыгуда? — все же первым я начал, только не поздоровался. И — на «ты». Ведь апсарцы на «вы» обращаются лишь к свекру или свекрови.

— Что со мной случится?..

— Это конечно!

Стояли друг против друга, не зная уже, что сказать.

— Вот увидела тебя... Работаешь?

— На заводе.

— Да, я слышала...

— Женился, — перебил я. — Трое детей.

А я действительно поумнел: где не грех солгать — пожалуйста, глазом не моргну. Не стесняюсь. Не боюсь и правды. Пусть не думает, что на ее дочери свет клином сошелся!

— Ты все-таки мужчина. А вот Адица не нашла счастья...

— Почему же? У нее прекрасный муж, падчерицы души не чают! Только Бадз...

— А что Бадз?

— Как что! Интересно... И это спрашивает мать!

— Отсидит и выйдет. Апсарцы как героя встретят...

— Еще бы! Личность достойная.

— Может быть, — сказала Мсыгуда, и я увидел в ее глазах слезы. — Когда-нибудь ты поймешь, как тяжело говорить то, что думаешь о человеке, даже если он твой сын. Правду всегда трудно высказать, но были времена, когда за нее карали... Хотя, может быть, именно тогда узнаешь человеку настоящую цену. Но я не хочу оправдываться. Я свое получила сполна. А вот ты и Адица... Какой же ты слабый, нан! Радовалась, завидовала, была уверена, что дал вам бог, в чем мне отказал... Вы же недостойными оказались. Ни настоящей любви, ни обыкновенного благополучия. Она мыкается с нелюбимым, дочери которого ей ровесницы, и ты... Ты ведь сказал: женат, дети? Зачем лжешь! Я ли не знаю... Мой позор вам помешал с Адицей? Что же ты гонялся за моей дочерью?

Я молчал и удивленно пялил глаза.

— Наверно, и тогда вот так же стоял, набрав воды в рот...

— Когда это? — не понял я.

— Боже мой! Вы-то как могли?.. Вам Черный Ворон и во сне не снился! Не знали, что друг другу сказать, что сделать, такие оба несмышленные малыши... Я бы не встала на вашем пути. «Не думай обо мне, найди Алиаса и бегите, бегите!» — сказала я дочери. А сама пошла к вам. И меня встретили, так встретили...

— Ничего не пойму. Выходит, все кругом виноваты!

Завела любовника при живом муже, из-за нее убили человека, саму ее с позором изгнали из села — и смеет кого-то обвинять! Я был поражен.

— Ты потерял голову, но о сыне своем должна была подумать твоя мать!

Прошу, если можно, не говорит» о матери...

— Пусть ей добром обернется то худое, что она сделала.

— Ага. Моя мать виновата. — Я уже с трудом сдерживался.

— Да, и она! Твоей слабостью воспользовалась... Впрочем, не Адицу ты любил, а себя! — с горечью и укором говорила она. Я был для нее апсарец — дикарь, живущий родовыми понятиями, моральный трусишка, который возомнил себя мстителем, в глазах у нее

стояли слезы, и я смотрел в эти глаза (чуть це сказал — твои!) и молчал, молчал. Если бы Дамш напоролся на волка, он лишился бы голоса? Почему немеют собаки при встрече с волками — инстинкт вины за измену?.. Мсыгуда взялась за сердце, судорога боли прошла по лицу. — Я, может, не доживу, а ты узнаешь, все узнаешь...

«Что узнаю? И так все ясно!» — вне себя от злости я смотрел, как она потащилась в свою мастерскую. Заскочить бы следом и крикнуть: пусть услышат все, кто там есть, что собой представляет эта милочка... Чтобы и из мастерской в три шеи!

Взглянул на часы. Двенадцать... Пойти в кино, а то закатиться в ресторан. Напьюсь. Ну и ведьма! Другая бы со слезами на колени опустилась, прося прощения... А может, вернуться домой? Завтра пораньше встану и успею. Сегодня опоздал, потому как то сторож лез с разговорами, то директор... А если в Апсару? И напрямиком к Гудисе, душу отвести. Будет рассказывать истории, а я слушать невинного ангела. Ведь хорошо знает, что Апта погиб по собственной глупости, никакого геройства! Нет, говорят, спасал колхозное стадо... Как же, бросился бы Апта на ледник, движимый, так сказать, благородными чувствами! Почему Гудиса, рассказывая, всякий раз отводит глаза? Для всех Апта герой, надо же иметь хоть одного, чтоб поклоняться. По-дурацки погиб и своей смертью отвел беду от Гудисы и других пастухов... Отчего бы Апту не сделать героем!

Я шел по набережной и от голода икал. В столовой на углу взял полный обед и сел у окна. Сколько бы птичка ни летала — на веточку сядет.

Ушиная сосиски с пюре, я посматривал в окно. На той стороне улицы возвышалось четырехэтажное здание, похожее на корабль. Четырехгранные столбы подпирали широкую, точно палуба, веранду, и над ней надпись: «Абхазия». Плышет себе прямо в море... И вспомнил, когда вышел, — перед этой гостиницей они и фотографировались. Вот здесь стояли, спиной к полукруглому фасаду. Справа от себя, по абхазскому обычаю, мужчина ставит женщину, а если сестра или невеста — то слева. Мсыгуда и была слева от Арутана. Я не путаю. И дата на снимке. Довоенная. Еще в институте учились. Но как говорила со мной, черт возьми!.. И я в ответ ни полслсова, язык отсох. До чего же глубоко во мне все апсарское, хоть на край света уйди — не избавишься! Что на душе, то на замочке. А увидим прохожего, до этого знать не знали, — пристанем, затащим за стол, выпей, дорогой, посиди с нами! Будь гостем. Потом плевать на тебя, а сейчас уважение... Уважение к Мсыгуде? Просто пощадил. Смотрел на нее, а видел тебя, Адица...

В городской читалке просидел до самого вечера. Книг не выдали из-за того, что в городе не прописан, и я стибрил по-тихому у какого-то парня, обложившегося уймой книг и журналов, делал вид, что читаю, а сам думал, думал... Иногда поглядывал по сторонам: может, тут кто из апсарцев, увидит меня над книгой, с блокнотом, и скажет: ого, взялся за ум, стал чзловеком, не пропал. Чтоб не забыть, записывал в блокнотик вопросы, которые задам Мсыгуде. Так сказать, тезисы... Выпалю все, что о ней думаю, и уйду, не дав слова вымолвить. А запнусь — блокнотец поможет. В него и буду смотреть. Не в глаза Мсыгуде. Скажу, все скажу! А закончу так: «Твоя дочь — твоя точная копия! Может, не знаешь, что мы ночь провели? Вместе встретили утро, разожгли огонь в очаге...» Мне стыдиться нечего. Это крот, боясь света, зарывается в нору. Мы в этой жизни прохожие и, пока не уйдем в вечную ночь, будем смотреть солнышку в глаза — пусть апсарцы талдычат свое, даже лишат последней пяди земли. Для Мсыгуды не нашлось и клочка в благословенной Апсаре...

Вот как я думал, сидя в читалке. И когда стемнело, встал и отправился к Мсыгуде на Беслетку.

Знаешь, как жила твоя мать? Видела? Дом старый-престарый. Дед, возивший Мсыгуду на могилу Арутана, рассказал мне историю дома. Стоит с прошлого века, а принадлежал какому-то махаджиру. Сложен из прибрежных камней, в один этаж. Но довольно высок. Сколько лет пустовал, кто первым вселился — старик все знал. Как пчелы захватывают пустой улей, так и люди набросились на этот ничейный дом. Когда не осталось свободного угла, стали лепить пристройки. Спереди, сбоку, сзади... Аж на крыше умудрились соорудить комнатенки. Как клетушки для голубей... И стал дом похож на разросшееся дерево среди подлеска. Вот в одной из пристроек и ютилась твоя мать. Снаружи посмотреть — и под сарай не годится, чтоб вино хранить. А внутри ничего, терпимо: полы покрашены, стены оклеены обоями, занавески на окнах... Речка возле дома. У ворот горбится ива. Из комнатухи Мсыгуды вечно доносилось стрекотание швейной машинки: она и дома шила. Копила на памятник Арутану. Нажила не только деньги, но и добрых соседей...

Когда ты примчалась, они уже примирились с внезапной смертью постоялицы. А видела бы, как старались помочь, спасти, как оплакивали!

Итак, я впервые переступил порог тесной комнатки... Многоопытные, прозорливые апсарцы говорят: боящегося смерти лукавая судьба приводит туда, где хоронят живых. Так вот Мсыгуда здесь заживо себя схоронила! Не боялась ли она смерти? Не думаю...

Мигом накрыла круглый стол, стоявший посреди комнаты. Я, усмехнувшись, сморозил:

— Беседа за круглым столом!

Есть такой вид мурашей, которые погибают, снеся яичко. Запоздало успокаиваю свою совесть: не догадывался, что готовится к исповеди. Не догадывался, а она-то знала.

Я объявил, что хочу продолжить разговор. И она так обрадовалась, точно своего Бадза увидела на пороге, который сейчас все ей простит... или тебя, которая воскликнет «мама!» и заплачет, обнимет...

— Спасибо, я сыт, — сказал я и отодвинул тарелочку с сыром, хотя при виде мамалыги засосало под ложечкой. Ока мягко настаивала — как всегда, когда приходил в ваш дом:

— Закуси, нан. Специально для тебя не готовила...

Вчера Бадза навещала. Не принял. И от Адицы не принимал... Вернул с письмом, где благодарит сестру. — Вынула из тумбочки какие-то листочки. — Узнал, что это я присылаю, и не принял, вернул... Закуси, нан.

Меня аж передернуло.

— Ни за что! Я не за этим!

Вырывается резкое слово — и я жалею, не успев рта закрыть. А сейчас лишь об одном пожалел, что резче не сумел. Собственный сын отказался, теперь меня угощает... Я не собака!

— Воля твоя, прости. — Она убрала со стола. Но чачу и вазочку с чурчелой и орехами оставила. — Сегодня днем не сдержалась, наговорила тебе... Так хотелось вашего счастья!

— Вы обвинили мою мать. Об отце — что угодно. Потому что это он... — Дал пистолет Бадзу. Нет, тут я вовремя заткнулся. — Но о матери!.. — Вытащил сигарету, повертел в пальцах и сунул в мятую пачку.

— Не стесняйся, кури. Дай и мне.

Не добавила «нан». Что ж, еще лучше. Чем дальше уйдем от уважительных словечек, перестанем лгать, тем ближе к правде.

— Ведь и я оказалась слабой, — тихо произнесла Мсыгуда. — Ты хочешь знать, отчего вы расстались? Так выслушай... Запрещаешь мне говорить о твоей матери... Она видела, как обошлись со мной. И если у нее есть сердце, почему же отвергла любимую сына? Заодно со мной...

— «Она видела, она отвергла!» А этот, Маджгана... «Кто женится на Адице, попадет прямо в рай. И она вместе с ним». Его слова. При мне были сказаны, при Адице... Мы хотели пожениться сразу после школы, так вроде бы любили друг друга... И вдруг эта любящая выходит за вдовца с двумя взрослыми дочерьми! Обманывала, за нос водила... Вот и пусть сидит со старым вдовцом!

— Ты или в самом деле ничего не знаешь или принимаешь меня за дуру?

— Что я должен знать? В субботу невеста, а в воскресенье заявляет, что между нами все кончено...

— И ничего не сказала о разговоре с твоей матерью? О разговоре в ту самую субботу? — Погасила сигарету в пепельнице, встала. — И мать промолчала? Конечно, зачем. Пусть сынок думает: Адица такая же бесчестная.

В субботу с одним, в воскресенье — и когда успела! — выходит за другого! Такому, как ты, иного знать не положено.

Как она уверенно сыпала обвинениями! Не похоже на человека, согнувшегося под тяжестью горя. Потом, через несколько дней, дошло до меня. Когда поразмыслил. Человек сотворил зло и расплачивается за него, не щадя себя. Вот что, оказывается, дает ему право на такую уверенность.

Мсыгуда положила таблетку на язык и запила водой. Мне и в голову не пришло, что от сердца. Было не до того.

— Адица в субботу вечером вернулась домой сама не своя. Сказала, что после разговора с твоей матерью только одно остается — покончить с собой. Вот слова твоей матери, как их передала Адица... «Отец Алиаса и я смотрели на тебя как на невестку. Мы простили Мсыгуде ее поступок, который совершила еще до твоего рождения. Обманув любимого человека, отказала ему...»

— Не понял. Кому? Кому ты отказала еще до рождения Адицы?

— Об этом потом поговорим. Итак, они мне простили. Дескать, пройдет время и все забудется. Но когда из-за меня убили человека... Они не могут порвать с родственниками и уехать из села, взяв в дом мою дочь. Дочь женщины, запятнавшей свою честь. У них

единственный сын, и они просят отпустить тебя. Пока живы, не позволят, чтобы Адица переступила порог их дома...

— А она? Адица? — холодея, спросил я.

— Твоя мать ей сказала, что ты согласен с родителями.

— Впервые слышу! Да это ложь!

— Сначала просила Адицу, умоляла... Потом заела упреками.

— Вот уж чего она не потерпит! Знаю ее характер.

— Всю ночь мы обе не спали, проплакали... Если я виновата перед жителями Апсары, то при чем же ты, говорила я. Ты и Алиас. Если ты его любишь, веришь в него, если вам нет места в селе, то бегите! Я дам денег на первое время. Иди к нему! Помнишь то утро? Как ты себя повел?.. Как бы подтвердил свое согласие с родителями. Больше я не могла оставаться в Апсаре. А Адица...

— Вышла замуж, — подсказал я. — Пришла к Маджгане: возьми меня... Быть этого не может! Или он ее умыкнул, или ты сама... ее отдала! Все вы такие, свои грехи сваливаете на других. Не будь тебя...

Расплескав на скатерть, налил рюмку и выпил. И только тут заметил, как изменилась Мсыгуда, как побледнела. Думаешь, пожалел ее? Откуда бы взяться этому чувству? Жалость... Пожалеть отца, как он Арутана... а выходит, и меня заодно, пожалеть Маджгану, ползать в ногах искалеченного Алхаса и молить о прощении? На себя не останется жалости!

Будто с того света взирала на меня Мсыгуда. И глаза уже не были похожими на твои. Твои-то глаза, даже если в них страдание, боль, светятся и теплы. Так сквозь корку льда просвечивает чистая вода... Я молчал. Единственное, что мог сделать для этой женщины, это молчать. Молча ее выслушать. О блокнотике я забыл. Не только то, что она говорила, но и как говорила, услышать бы тебе! Было бы больше веры. Но голос передать я не могу...

В двух хороших семьях в хорошем селе, расположенном между горами и морем, жили-были девушка и парень. Еще до того, как юные души потянулись друг к другу, в добром сговоре люди соединили их судьбы.

Прямо как в сказке!

Повествование об одной любви, народившейся с утренней звездой и закатившейся с вечерней...

— Нет в нашем селе более достойных друг друга! — говорили все.

Добрые люди радовались, глядя на них. Злым не давала спать черная зависть. Как виноградная лоза сплетается с деревом и оба тянутся к свету, все выше, так и они, и сердца их были чисты и открыты. Окончили школу и уехали в город дальше учиться. Девушка, правда, нравилась совсем другому, хотя и был намного старше. (Это твой будущий отец, Адица. И вовсе не вдовец — в отличие от того, кого выбрала ты. Не пошел

по пути, по которому молодецки шли тогда многие: не получается согласием и миром — взять силой. Ждал без всякой надежды.)

Вот какой выходил расклад страстей в этой сказочке...

Стойкость деревца проверяется в засуху, в холода. Мужчина силен и храбр, покуда на поле боя не встретится с врагом лицом к лицу. Если один, себе одному принадлежишь, то волен распорядиться собой. А как быть, когда от тебя зависят жизни близких людей? Своими руками убьешь?.. Если в тебе не каменное сердце, собственная жизнь покажется не стоящей ломаного гроша. Лишь в сказке добро побеждает лютое зло, дракону, выползавшему из пещеры, отсекали головы. А дракона, который налетал на село за бесчисленными жертвами... Это не сказка. Не сказочное диво — человек. Отец и мать люди, и имя человеческое. Самсоном звали. А прозвище — Черный Ворон.

— Самсон? — спросил я. Невольно вырвалось. И подумал: «Не наш ли Григорьич?»

— Не он ли арестовал отца? Отец был в Сухуми и домой не вернулся... Потом сообщили, что арестован... Ты знал об этом.

Я по-дурацки пожал плечами. Слышал что-то... В семье у нас вообще не говорили о подобных вещах. Но почему промолчал, когда Мсыгуда упомянула имя Самсона? Потому что в тот вечер еще не знал, как обернется дело? Врешь! Потому и смолчал, что язык не повернулся: ты боялся. Как бояться звери. А ведь надо было сказать, утешить — кто бы она ни была, мать предавшей меня Адицы: «Самсон в тюрьме!» Слабое утешение... Кто знает, может, пожила бы еще. Господи, почему при жизни человека мы не говорим ему единственно нужных слов и щедрь лишь после его смерти!

Она продолжала:

— В последний раз мы встретились с Арутаном... Молила в записке, чтобы снизошел, чтобы поговорил со мной. Помню тот вечер. Полная луна, светло как днем... Он шутил: вот окончим институт, поедем в заморские страны, посмотрим на мир... Не обнял, не поцеловал. Кажется, была середина лета, а летели, курлыкали журавли...

Я прервал:

— Сентябрь. Двадцатое сентября.

Она удивленно взглянула:

— Действительно... Ты знаешь? Откуда?

— Неважно. Но не пойму, почему ни словом не обмолвился о свидании? Лучшего алиби не придумаешь!

— Что изменилось бы! Если бы я сама пошла и рассказала... Мы расстались в третьем часу, а пожар начался после полуночи. Свидетельство дочери «врага народа»... Нас обвинили бы в сговоре, пострадала бы и моя семья — мать, братья. Доказать ничего было нельзя! Взяв на себя вину, он спас других невинных... В селе знали, все знали, что грабитель не Арутан. Но никто не защитил! И это они изгнали меня из села. Как злые дети, для которых совесть — игрушка, а честь — забава... Я не мстительна, но мне больно и страшно за них. Предав человека один раз, убили его душу. Потом, распустив о нем

худую молву, унизив, лишили и жизни. Он был один против всех, один со своей совестью...

Слушал Мсыгуду и почти верил. Какое-то тяжелое смущение (может быть, и раскаяние?) поразило меня. И тут вспомнил: Арутан отрицал с нею связь, а Мсыгуда заявила открыто, что живут как муж и жена... Зачем? Кто из них лгал?

— Зачем ты лгала? — спросил я. — Что любите друг друга.

Мсыгуда долго не отвечала.

— Когда, оклеветав, забрали Арутана, все было кончено. Мне стало все равно, что дальше... И я благодарна Арсане, мужу, что осталась жить, что были и радости... за детей, которые появились.

— Но вот вернулся Арутан... Да он же тебя не любил! Так, доброе отношение...

— Не знаю... Любил, по-своему. Но я-то любила!

— Любила! Сама дважды его предала. Если б любила, собой пожертвовала. «Не поверили бы... Спасала семью!» А через день выходишь за Арсану... И снова ищешь встреч с вернувшимся из заключения Арутаном.

И ведь действительно — искала! Писала ему — записку потом нашли родственники в кармане Арутана. Умоляла о свидании, о снисхождении: ни любви, ни ненависти не достойна, но если... Что если? А вот что: «Мне больше ничего не остается...»

Дальше продолжать не буду. Зачем тебе знать, Адица, что она намеревалась сделать.. Не сумела или не успела — это теперь не имеет значения. Не ушла и от мужа — покуда не выгнали из Апсары...

Продолжу... поплыву, барахтаясь в водоворотах и не зная, к какому берегу прибьет...

Под утро я вышел во двор. Небо над горами посветлело, декабрьская сырость висела в воздухе. И не понять, течет или застыла река... Ни тоски, ни радости — никаких чувств и желаний не было во мне. Совершенная пустота. Вернувшись, я застал Мсыгуду сидящей за столом в той же позе. Не говоря ни слова, налил стопку и выпил. Нашел свою шапку... Когда был уже за воротами, вспомнил: не попрощался. «Ладно, — сказал я себе, — зайду вечером или днем на работу».

Там, где Басла впадает в море, всполошно кричали чайки. Грохоча, шел накат за накатом. Я сел на скамью под эвкалиптом и стал смотреть, как поднимаются из моря лоскутья утренних облаков. Меня бил озноб, я сжался в комок.

За оградой, в соседнем парке, повизгивала собака. Удивительно, за весь вчерашний день ни разу не вспомнил о Дамше. И сейчас подумал: вот вернусь домой, сложу вещи в рюкзак, надену ошейник на Дамша. И пойдём... В горы? Пойдем в горы. Мимо Апсары, полями, перелесками... Туда, где только птицы и звери.

Я вовремя пришел к следователю.

— Что это с тобой, Алиас? Губы посинели!

Раньше обращался ко мне по имени-отчеству или вовсе официально: «товарищ». А тут так участливо, просто: «Что с тобой, Алиас?» И оттаяла у меня душа...

— Держи голову выше! Все будет отличненько. Пока не имею права говорить, — он понизил голос, — но... благодаря тебе объявили благодарность по службе. Понимаешь, что это значит? Повышение, новые погончики! — И похлопал себя по плечам. — Пошли.

В кабинете, куда он привел меня, сидели трое. Двое в штатском и один в форме полковника военной юстиции. Показалось, что где-то прежде видел его. Эти густые сросшиеся брови, глаза... Да-да, фотография под обелиском в память о погибших в Отечественную. Старший брат Мацкуи...

И я почувствовал себя уверенней, словно и впрямь передо мной ее старший брат.

Я все рассказал о Фрице, как себе это представлял. Чем занимался до войны, какие «подвиги» совершил в немецком тылу.

— Он предатель, эсэсовец! И сейчас — вор! — Я все больше расхохотился: — У нас в селе его именем пугают детей... Черный Ворон! Если окажется на свободе, я знаю, что сделаю...

Все трое весело переглянулись, встали.

— Не окажется! А за помощь — большое спасибо.

Моросил мелкий дождь. В возбуждении я шагал пустыми улицами и воображал, что когда-нибудь, а может быть и очень скоро, соберу апсарцев и расскажу, как вывел на чистую воду Черного Ворона, сполна ему воздастся... Мсыгуда тоже из Апсары, и первой ей расскажу. Я шел к ее дому и разговаривал сам с собой.

У ворот стояла «скорая помощь». В комнате Мсыгуды пахло лекарствами, сама лежала на кровати, около нее сутились пожилой врач и медсестра.

Я испугался:

— Надо быстрее в больницу!

Медсестра взяла меня за локоть и вывела во двор

— Какая теперь больница... А она кто тебе?

Я не сразу нашел, что ответить.

— Теща...

— Жалко, еще молодая женщина! Дочери сообщили?

— Нет, они давно... Да вы не поймете!

— Почему ж не пойму?

— А если достать лекарство?.. Если можно, разрешите нам поговорить. Кое-что надо ей сказать...

Медсестра удержала.

— И не стыдно? Человек умирает, а ему поговорить! О завещании небось? «Скорую»-то и раньше вызывали, а на этот раз уже не помочь...

Комок застрял у меня в горле. Ива, склонившаяся над рекой как плакальщица, распустила серые космы, пузырилась грязная пена... Старик Гудиса любил приговаривать, зачерпнув в пригоршню ключевой воды: «Дает жизнь и сама живая! Она и солнышко. По преданию, как умирает женщина в родах, родник высыхает. И оживает, если девочка появляется на свет» Не знаю. Может быть. А деревцу, которое согнули ветра, уже не распрямиться...

Опять накрапывал унявшийся было дождь. Кто-то положил руку мне на плечо. Я обернулся: пожилая седая женщина.

— Наши с ней комнаты через стену... Это о тебе, наверно, сказала: сын приходил проведать. Утром услышала, стучит в стенку. Заглянула... Ой, совсем плохо!

Вызвала «скорую». Что еще могла сделать? Такая женщина, как жалко...

— Спасибо, — сказал я и заплакал.

На улице я поймал такси и попросил шофера передать тебе записку. Даже указал повороты и как лучше подъехать к дому. Потом долго сидел во дворе. Подходили, выражали соболезнование, думая, что я действительно сын покойной.

Да, Адица, что-то есть на свете, что не прощает нам ни слишком сильной любви, ни ненависти. Как у реки, так и у человека есть свое русло. Выйдешь — и пожалеешь!

Записку с сообщением о смерти твоей матери я не подписал. Может быть, потому, что стал понимать: сам виноват во всем, в чем обвинял тебя. Хотя все пустое. Пустое. Любовь, которая не принесла радости, — зачем она? Мстить, никому не прощая и никого не щадя? Апсарцам нравятся глубокомысленные притчи. Послушай одну, рассказанную тем же Гудисой. Человек нес разлученным влюбленным добрую весть. Встречный заступил дорогу: куда и зачем? Говори!

— Не могу. Дал клятву молчать.

— Ах так? — И выхватил кинжал.

Вестник был добрый человек. Не то что убить — худо помыслить о ком-то был не способен. Но поднял пистолет и выстрелил. И повернул назад, посчитав, что недостойн быть посредником между влюбленными.

— Вернись и заверши свой путь! — раздался голос свыше.

— Не могу. Пролил кровь созданного тобой, — ответил вестник.

— Иди! Ты не человека убил, и на тебе нет греха!

Этот голос «свыше»... А мне так и чудится хрипоток какого-нибудь апсарца!

Сидел во дворе и терзался: ждать тебя или нет? Приедешь с мужем, и Маджгана пустит обильную слезу, будто впрямь убит горем, а я подойду и выражу соболезнование... В самом-то. деле, почему бы не дождаться? Встану рядом — и пусть соболезнуют двум зятьям. Кто для покойной был истинным зятем — я или Маджгана?

— Оказывается, ты, Алиас, был ей единственно близким, — сказала ты.

Вот как обернулось! Я не стал размышлять о том, что ты имела в виду: благодарила меня или казнилась. Боль отпустила, я забыл, зачем ты здесь, зачем люди толпятся во дворе. Чувствовал только тихое и глубокое облегчение. Оно было похоже на радость... (Ты заметила, в нашем языке слово «радость» означает «зарубцевать рану»?)

Маджганы с тобой не было. Но я как-то не обратил на это внимания. Будто вообще его нет на свете... Когда ты получила мою записку, он отсутствовал. Ну что ж, можно поверить. Но и в день похорон я не увидел Маджгану... Посчитал покойную недостойной своей слезы? Не встал рядом с тобой у гроба... Да чем он лучше осквернителя праха, если, воспользовавшись моим бессилием, ударил из-за угла!..

Ладно, оставлю. Глупые упреки! Только и делаю, что бросаю камни в прохожих, такой праведник.

А Самсон-Фриц получил по заслугам. Мсыгуда, жаль, не успела порадоваться, не успела...

Знаешь, я распрощался с Шерлоками Холмсами и комиссарами Мегрэ, стал читать детские книжки. Куда приятней! Правда, попалась одна... говорят, написал человек из соседнего села. О чайках, журавлях, орлах. Когда о птицах сказать ему больше нечего было, перешел к огурцам и арбузам. О людях почему-то ни слова... Оглянулся бы по сторонам! Хотя, может, ему интересней о птичках.

И все вдруг покатило к концу...

Последние перебранки с хозяйкой из-за Дамша и последние нежные ночи. Хватается за швабру, увидев пса, сама не своя, готова и меня огреть, а ночью шепчет ласковые слова, я бормочу о загсе, напрочь забывая, что любит другого, кому совсем не нужна, а я вроде отдушины или ширмы. Но нам очень хорошо по ночам. А тебе, Адица, с твоим мужем? Зачем выдумывать какую-то там любовь! Словно кто-то нас обязал...

Теперь, когда с Дамшем прохожу заводские ворота, сторожу еле киваю. И с таким еще гордым видом! Как князь. Будто не только он, заводской сторож, но и его отец служили у меня на псарне. Черт возьми, до чего же люблю заноситься! Покосившийся забор подпирают, так и я, чтоб не упасть духом, делаю вид, что все у меня — лучше некуда.

О Самсоне разные разговоры. Забрали, дадут срок... А что, если вернется и займет место директора? Примеров сколько угодно. Где будет тогда Алиас вместе с парторгом?

Неожиданно всех собрали на митинг.

— Важное сообщение! Чрезвычайно важное! — объявил начальник отдела кадров и пристегнул к сообщению одну из своих обычных шуточек. Скажи ему, что началась война, и тут найдет повод пошутить. Я сперва подумал, призовут к солидарности с каким-нибудь африканским государством, и, как всегда, был готов проявить интернациональное чувство. Но, увидев в воротах следователя, понял, в чем дело.

Все столпились на заводском дворе. Замерли краны, смолкли визжащие пилы.

— Товарищи! — начал наш директор.

Рядом стоял следователь с папкой под мышкой. Когда двое в президиуме или на трибуне, сразу поймешь, кто главный. В кабинете к директору не подступиться, выше него только небо, а сейчас спеси поубавилось, не знал, с какой стороны расположиться возле товарища из прокуратуры. Ох и сволочь же — прохрипит по бумажке, что там у него написано, и морду к следователю повернет: дескать, правильно говорю? И конечно, с самого начала насчет родного правительства и родной партии, которые сняли ярмо с рабочих и крестьян и ведут нас вперед, так сказать... «Так сказать» — почему-то по-русски, без «так сказать» не получалось ни торжественной речи, ни разносов, которые еженедельно учинял.

— ...И в то время, когда мы, так сказать, в воротах коммунизма, находятся люди, — пылал гневом директор, — которые хотят нашу Родину отдать врагу! Они шпионы иностранной агентуры! — Тут он наклонился к низкорослому следователю и что-то спросил. Следователь привстал на носки и потянулся к директорскому уху. — Не иностранной разведки, а просто предатель! — поправил директор, подняв сжатый кулак. — Враг орудовал среди нас. Но теперь полностью и окончательно разоблачен!

Сильно сказал, еще бы! Директор и сам это чувствовал, потное лицо горело. Да, здорово говорил — наверно, точь-в-точь как Самсон-Фриц, когда налетал на Апсару...

— От имени дирекции, профкома и комсомола... мы посовещались, так сказать... выражаю благодарность нашему молодому рабочему Алиасу Акуланбе за разоблачение изменника. Я лично всегда подозрительно относился и не любил Самсона Григорьевича. И не подпускал близко. Были отдельные недоработки... Но с учетом указаний исправляем ошибки, так сказать. Сплотим, товарищи, ряды! — Не успел кончить, как Дамш залился неистовым лаем.

Я выбрался из толпы, хотя просили выступить, сказать несколько слов.

Так и не смог успокоить собаку. Стоило директору что-нибудь выкрикнуть с пафосом — Дамш злобно рычал, рвался из рук, будь он проклят!

Петрович тоскует по заводу. Нет-нет да придет...

— Что ты, Алиас, все пишешь? — спросил как-то, подсаживаясь. — Еще одного Фрица нател? Да... Сколько раз пожимал ему руку и не подозревал... Дмитрий Гулиа пишет, в старину здоровались не через рукопожатие. Хороший был обычай!

— А как делали, кланялись?

— Спина б не отвалилась. Да и вас, абхазцев, было бы больше. Как здоровались,

спрашиваешь? Поднимали правую руку с раскрытой ладонью: без оружия, злого намерения не имею... А то пожмешь руку подлецу — сам замараешься.

— Верно, Петрович. Только как отличить? Сколько в любом всякого намешано! Вон кучу тетрадей исписал, чтобы разобраться.

Подошел еще один, из паркетного цеха. Армянин по национальности.

— Пиши, пиши! — сказал он, заглянув в тетрадь. Я заложил ее карандашом и спрятал в стол. — А то абхазцы не все успели записать!

— Многословен только глупый.

— Смотря о чем говорить, — не согласился Петрович. — Бывает, жизни не хватит, чтобы все высказать.

В старину близкие соседи армян янычары...

— Чтобы вам иметь таких соседей!

— Вот-вот! Абхазцам надоел их разбой. А с севера жмет русский царь, не дает покоя. Собрались на Лыхненской поляне. Не хотим ни тех, ни других! Хотим свое государство.

— И у нас, армян, хотя жили среди камней, отняли родину...

— Произошло на этой Лыхненской поляне невиданное кровопролитие. Надвое разделились абхазцы и встали друг против друга. Одни говорили: спасение в России, мол, русские христиане, как и мы. Та же вера была до прихода турок. Другие: нет, мы мусульмане, если и быть под чьей-то властью то лучше уж турок. Произошла резня. Потом выступил один крестьянин, стал рассказывать о бедах народа. День прошел, настал вечер, а он все говорит, конца не видно... Кто упрекнет его в многословии? Записать бы, да некому было.

— А мы всегда умели писать. И у кого еще такая древняя история, как у нас! — похвастался армянин.

— У абхазцев не менее древняя, но беда в том, что потеряли свою письменность, а на памяти немного сохранилось.

— Мы люди простые, пасли скот, — подколот я Петровича. — Думаешь, даром говорят, что историю абхазцев сжевала коза?

— Подшучиваете над собой, над вами и недруги стали смеяться, — не отступал Петрович. — А почему потеряли? В одной руке оружие с пером не уместится.

— Не знаю. В школе у нас не учили историю Абхазии. Да и зачем знать, что было в старину! Мой дед говорил, если бы не русские, нам бы конец. Свои же князья продавали в рабство.

— А ты поинтересуйся, поинтересуйся своей историей. Полезней, чем детективы читать.

— Верно говорит человек! — удовлетворенно засмеялся армянин. — Слушай, ступай в

Матенадаран. Там и ваша история хранится!

Он ушел в цех, ушел и Петрович, увозя Дамша. Я достал из стола и открыл тетрадь. И представилась такая картина. Все миновало-прошло, ветер за стенами, и отблески горящего очага на наших лицах. Рядом внуки... Мы вспоминаем время разлуки, такое далекое, и с улыбкой пожимаем плечами: неужели это были мы, непрощающие глупцы?..

Как приятно себя обмануть! Знаешь, что лжешь, недомыслие, чепуха, а сердце ликует.

Завод начал строительство жилого дома. Я написал заявление.

— Дадим. Ты достоин, — сказал директор, придав слову «достоин» особый смысл. Да какой бы ни вкладывал, мне лишь бы свое получить. Плохой он человек или наоборот — разве поймешь? Надоело копаться в чужих душах. Да и в своей... Вряд ли знал директор, чем Самсон занимался в войну. А то, что «снабжал» его и других... Не за это забрали. Самсонова веревочка далеко вьется, если перебрать по узелку, бог знает куда приведет... Лучше подумать, как помирить хозяйку с Дамшем. Когда получу комнату, переберемся ко мне, если захочет. А нет — один буду жить.

Бросить камень в легкомысленную женщину не то что я — предки не смогли. Предки... Желая тебе, Адица, встретить безгрешно-чистую душу. Сам же я не встречал человека, который не боится, что брошенный камень угодит прямо в него. Довольно собрал я «дани» со своей любви!

Об одном жалею и тоскую... О чем бы, ты думала? Да вот о холмах, как бегал по склонам с ребятами, о поляне, где гоняли в футбол... о ледяном роднике, бьющем из скалы, — вставали под струю, кто дольше выдержит; о том, как залезали в чужие сады, возвращаясь из школы, о старом грабе, под которым сидели с тобой... как собиралось все село и пели, танцевали... Скажешь, затосковал по танцам? Пляши, кто мешает! Есть же клуб при заводе. Есть-то он есть, да не споешь, не станцуешь, как там, где... Что говорить! Посади корень лозы — привьется, на два шага перенеси — и зачахнет.

Появлялось ли у тебя когда-нибудь желание взять в руки тлеющий уголек? Манит, точно крупца теплого золота, а возьмешь в руки — обожжет. Так у меня с Апсарой. Мери... Хочется увидеть ее, поговорить, но встретимся — жжем и колем друг друга. Когда Мирон праздновал рождение сына, я пошел без всякой охоты. Потому что заподозрил его отца, потому что посчитал себя каким-то образом причастным к страшному недугу ребенка. Комплекс вины... Уже перед всеми! По дороге завернул к Мери, позвал. Вышла из кухни, ребенок семенит рядышком, уцепившись за подол. Который по счету?.. Земля создана кормить человека. Мери — рожать детей.

— Красавица Мерй, Мери длиннокосяя, подруга дней моих счастливых! Умираю без тебя! Почему ты замужем!

Засмеялась. Ах, этот ее смех. Не смех, а звон родника, музыка... Ну еще с чем сравнить?

— Друг ты мой бесценный! Если из всех мужчин останешься ты один — и тогда не пойду за тебя.

— Отчего же, красавица? Разве я так плох?

— В чем-то очень хорош, но понадеяться на тебя нельзя.

— Петух трижды не пропоет, откажусь?

— И разочка не успеет! Ты точно такой же апсарец, как о них говорит Чокнутый. Требует, чтобы сняли портрет Апты и повесили — Мацкуи. Молитесь, мол, на труса, а о бедняжке думать забыли!

— Чокнутый прав.

— Ты наступаешь на больную мозоль. Некий философ изрек: не было бы бога, пришлось бы придумать. Апсарцы выдумали себе Апту. Что вы с Чокнутым к нему пристали? Слушай, ты написал Адице? Сообразил, зачем Мирон привел тебя на свадьбу Чокнутого? Чтоб показал, как умеешь петь и танцевать?.. Дурак ты! Отвел бы ее потихоньку в сторону...

— Этого недоставало! Чтоб шлепнули, как Арутана? Пока всего не выясню, лучше самому держаться в стороне.

— «Держаться в стороне», «пока не выясню»... Я же говорю: дурак! Жаль тебя!

— Видишь ли, подруга дней моих веселых... Ума, как и счастья, у создателя на всех не хватило. Печально, да что делать! Иди, твое чадо расхныкалось.

Даже не попрощался.

В честь сына Мирон зарезал белого барана. Как у нас говорят, «без единого черного волоска». Таков ритуал.

— Твое яркое солнце, твое чистое небо, твои высокие горы, синее море! — Мирон возвел глаза. — Всем, что создал, боже, молю, не обдели моего ребенка...

Мысленно от всей души я пожелал того же.

Мирон держал ореховый прут с нанизанными на него сердцем и печенью барана. В глубине двора дрогли голые деревья и одиноко торчал дуплистый дуб. Широкое и черное дупло походило на давящую. Заброшенную. Винный дух давно выветрило... «Утром я застал Апту с лопатой на плече... Перепрятал один из молельных кувшинов и возвращался». В винном хранилище Мирон вскрывал кувшины, я наблюдал. Того, о котором говорил Гудиса, не было здесь.

— Что озираешься? — спросил Мирон, — Увидел кого?

— Дубом люблюсь... Если свалить, а на его месте посадить яблоню... Она и лозу на себя примет.

Сорвалось с языка, как срывается с ветки сухой лист. И потом, выпив за столом несколько стаканов, напомнил о дубе.

— Вообще-то я тоже думал, — отозвался Мирон. — Собаки залезают в дупло... Вырву с корнем и в твою честь — яблоню!

Мы посмеялись, довольные друг другом.

— Обещаешь? Только я сам посажу, своими руками. И не в свою честь, а в честь твоего сына.

Провожая меня, Мирон сказал:

— Алиас, твой отец и я хотим сделать одно дело. И ты должен нас послушать.

— Женить хотите?

— Шутить будешь в другой раз. В старину был неплохой обычай: плата за кровь...

— Ни в чьей крови я не повинен.

— Повинен, Алиас. И ты это знаешь. Апсарцы не простят.

— Они не простят! Я им должен отпустить грехи.

— Перестань. И подумай о том, что я сказал.

Только и делаю, что думаю... Принародно повиниться перед Алхасом? Если надо, встану на колени. Не гордец. Спросят, за что ты хотел Маджгану покалечить. Выложить все как есть? А всеми уважаемый мудрец Гудиса говорит одну правду? Он прекрасно знает, что Апта нарушил обычай, выкопав кувшин и не заколов жертвенного барашка. В те времена обычай свято соблюдался. Стало быть, что-то нечисто... А Гудиса повел себя так, будто ничего не случилось! Знал или догадывался, но промолчал. Выходит, соучастник... Может, так оно и было. Вдвоем ограбили кассу, а потом, в горах, избавился от Апты... Недаром твердит, что у человека один раз в году мутится рассудок! Ладно, оставим старика. А Мери? Говорит, все ищу виноватого, а результат? У твоей Адицы семья, и ты заведи. Ничего себе дружеский совет!

Все — с хозяйкой горшок об горшок! Из-за Дамша, конечно. Выгнала на лестничную площадку и так швабройхватила, что, не успей захлопнуть перед ним дверь, поплатилась бы, дура... Я в чем был выскочил во двор.

Поджав хвост, Дамш трусил в сторону гор. Не к заводу.

— Дамш, Дамш! — звал я.

Оглянулся и — дальше. Только оглянулся...

И в это время из-за поворота вынырнула полуторка, у меня потемнело в глазах. Я и гудка не услышал...

Дамш лежал на асфальте, страшно, неестественно вытянувшись, и казался громадным. Я встал на колени, приподнял ему голову. Меня била дрожь.

— Прости, брат, — подошел шофер. — Охотничья была?

— Охотничья... На подлецов.

— Если бы чуток раньше заметил... — Шофер наклонился и погладил Дамша, он был еще

жив, но никак не отозвался на чужое прикосновение. — В первый раз такое... Ах ты боже мой!

Дамш открыл глаза. И посмотрел на этого растерянного пожилого человека. Ты замечала, какое бывает солнце перед закатом — тяжело опускается в море, тускнеет, расстается с миром... Незнакомцу Дамш всегда смотрел прямо в зрачки, и по его взгляду я знал, что он «думает» о человеке: плохой ли, хороший. А сейчас я ничего не увидел в его глазах... Только тихое примирение. Наверное, такими же были глаза Мсыгуды перед смертью. Кто знает, каким мы видим мир, впервые открыв глаза и когда закрываем их навсегда...

Запыхавшись, прибежал Петрович. Принес мне ботинки.

— Беда-то какая! — И покачал головой.

Солнце поднималось из-за гор, и с побережья подул сырой соленый ветер.

— Это я убил его... Сам убил...

— Он для тебя умер, — сказал Петрович. — Обуйся. Выбежал босиком... Я за лопатой схожу.

Мы закопали Дамша при дороге. Я не стыдился слез.

Возвращались домой, Петрович сказал задумчиво:

— У вас, абхазцев, есть такое поверье. Когда человек умирает, его душа вступает на узенький мост. Перейдет — окажется в раю. Нет — попадает в ад. Кошка перед тем смазывает жиром этот мост, чтобы поскользнулся. А собака идет следом и слизывает... Ты вчера вечером где был? Я вот сидел во дворе, гляжу, к твоей хозяйке ее дружок и еще двое парней с девицами. Целая компания...

— Собираются, чтоб время провести.

— Ты понимаешь, Дамш не впустил! А его не смогли выгнать.

Мы сидели у Петровича на кухне. Лопату, выпачканную глиной, он оставил в прихожей.

— Максим Петрович, я у вас побуду. Пока угла не найду. Позволите?

— Может, ты и прав. Женщина, у которой ты... Хотя это не мое дело. Живи сколько хочешь. Лишь в субботу и воскресенье внуки наезжают, такая суматоха, понимаешь...

— Даже хорошо!

— Не обижайся, если скажу... Вернуться бы тебе в деревню, к отцу и матери.

— А кошка, значит, жиром смазывает? Еще сказано: путь в рай усыпан розами... В Апсару мне вернуться — такой же мост перейти.

— Ничего. Дамш тебя перевел... Сам погиб, а тебя перевел. Поймешь потом. Разобраться в жизни что к чему... Ладно, бог со всем этим. Мы мастера давать советы. Но на отца тоже не обижайся. Я-то его понимаю.

Я попросил жену Петровича, которая до пенсии работала у нас в паркетном цеху, забрать мои вещи у хозяйки и сказать, что больше не приду.

Через три дня сложил в стопку тетради и так решил: поставлю точку. Хватит писанины. Нам с тобой она больше не поможет. Полистаешь и брось в огонь. Пусть сгорят глупости, подлости, суета — этого предостаточно оказалось. Без конца обманывал себя самого... Глухой была моя душа. В глазах Дамша примирение. И ты примиришься, Алиасик! Только бы не видеть апсарцев. И не слышать об их мертвецах. Свет велик, сколько заводов, строек!.. Или в горы податься, где был с Гудисой? Впадает в Кодор речушка под названием Адзгара, перекинут железный мост. Стороной обойду и — вдоль речки к горам. Река все мельче и уже. Прикинь: сколько прошел? В полдень был у подножия горы, а поднялся — стемнело. Ровная поляна, дальше нет хода... Вон у того дерева с зарубкой начинается Пустырь Ахуартлагвы. Туда стада не гоняют. Много чего я слышал о всадниках, разъезжающих верхом на волках, о вскормленных медведями, о принесенных орлами, но предание об Ахуартлагве кажется мне взаправдашним.

Женщина-демон! Злой и мстительный дух...

Вон там, показывали пастухи, стоял ее дом. Место под очагом. И посегодня трава не растет: огонь прожигал землю насквозь. Показывали огород. Бурьяном густел укроп в человеческий рост... А рядом айвовое дерево. Леший знает, сколько ему лет, но плодоносит, как в молодости... У отведавшего айвы Ахуартлагва забирала душу. Забрдавшую во двор скотину подвешивала на айвовом суку, свежевала живьем. А человека... Одного ее взгляда было довольно, чтобы навсегда лишиться воли и разума. К людям уже не было возврата. Прежде когда-то Ахуартлагва была как все смертные. Но от обид и горестей превратилась в само Зло. И нынче ее дух обитает в окрестностях, наводя страх на людей и животных...

Построю лачугу, полакомлюсь айвой. Хотел быть человеком — не позволили! Ну и оставайтесь там, внизу, лгите друг другу, рожайте таких же детей, как сами. И бросайте камнями в невинных. Адица, мы с тобой могли провести прекрасную ночь, встретить рассвет — но нам не хватало... сознания того, что мы просто люди.

Комнату я нашел неподалеку от завода. На берегу моря, тишина. И так подумал: что мог, сделал. Написал коротенькое письмецо Мирону. «Ты пока не трогай старый дуб, который стоит в конце сада. Возле него я посажу яблоню в честь твоего сына. А когда она вырастет, вырвем дуб с корнем». Написал и положил листочек в карман. После работы схожу на почту и опущу в ящик. Такое чувство, словно уезжаю, куда — сам не знаю, заканчиваю дела и плачу долги. А что делать со стопкой тетрадей? Передам тебе, Мери, при случае... А ты своей подружке, которая вышла замуж с благородной целью: чтобы я был счастлив.

Я приоткрыл занавес до половины. А дальше пусть сама Адица.

Эти слова приписал в конце и поставил свои инициалы: «А. А.» (Алиас Акуланба). Вложил в тетрадь вырезку из местной газеты со статьей «Везде наступает преступника» — о Самсоне. Перевязал бечевкой. Ящик моего рабочего стола запирается, я и бросил связку туда.

Сегодня привезли что-то уж больно здоровые бревна. Недавно спилили, и они издавали

такой запах, что язык прилипал к нёбу. Широкий ремень транспортера выносил свеженапиленные доски во двор. Поначалу они отливали янтарем, но потом быстро тускнели...

С пестрого неба сочился дождик, мелкий, точно пыль. Выглядывало и слепенькое солнышко. Март как март. Какая-то женщина в длинном черном платье, голова укутана шерстяным платком, вошла во двор и остановилась в ожидании. Знакомая походка... Женщина долго стояла у стенда со стенной газетой. Потом направилась в мою сторону. Я обомлел: да это же моя мать! Говорили, что и недавно была. Зачем? Может, дома что-то случилось? Нежность к ней, сопутствовавшая моему детству, и отчуждение... Я не знал, о чем с ней говорить.

Попросил рабочего на время заменить меня и пошел навстречу. Она обвела рукой вокруг моей головы, как делают все абхазские женщины, всплакнула. Я отвел глаза.

— Сядем где-нибудь, хочу, сын, поговорить с тобой.

— О чем?

Мы сели в красном уголке. Я первый начал — и решительно, не давая себе остыть:

— Зла от родных людей больше, чем от врага. Ударят, как пожалеют...

— Он не хотел, да как получилось, — сказала мать, разумея отца. «Получилось» прозвучало с оттенком сожаления. — Я приходила уже...

— Чтобы директор за мной присмотрел?

Сделала вид, будто не расслышала.

— Сказали, уехал на похороны в Сухуми. С моей стороны и со стороны отца там нет родственников.

— Было время, когда этого человека ты почитала за родственницу. Мсыгуда, мать Адицы, умерла.

— Что ж, стоял среди ее близких?

— Да, стоял. И мне выражали соболезнования.

Нет, мать не поднялась «в гордом гневе», и печальная весть не придавила ее. Сидела, задумавшись.

— Горбатого могила исправит, — отвернулась, вздохнула. — Отец меня послал. В субботу ты должен быть дома.

— Думаешь, отца больше слушаюсь? Вы для меня оба одинаковы.

Одинаковы не как родители, а в другом смысле — вот что хотел я сказать. Не знаю, поняла ли она. Может, и поняла. Потому что своим молчанием (лицо замкнулось и помрачнело) отвела упрек: больше всех сам виноват. Я упрекал, а она сожалела: пройдет несколько лет, и уразумеешь.

— Приезжаешь, встречаешься с отцом и, не повидав меня, убегаешь... — Она улыбнулась.
— Будь дома до субботы. Так надо.

— Да что случилось с вами?!

— Готовим небольшой стол.

— Невесту приведете?

О, каким жестким стало лицо моей мамы! Конечно, прежде чем думать о невестке, нужно иметь сына.

— Стол-то по хорошему поводу?

— Послушай. Эта хлеб-соль... Некрасиво, но что делать, если напоминают.

Как и у Мсыгуды, в глазах матери было усталое примирение. Последний взгляд Дамша... Но с чем примирилась она? Одно я видел: передо мной сидела уже не та, что когда-то обнимала, целуя, гладила мои волосы; не та, что сорвала однажды ружье со стены и, не дрогнув, выпалила в петуха. По ее упавшему голосу я догадался, что хлеб-соль для меня. Дикость — подумать, что собираются женить, не спросив жениха.

— А без меня нельзя?

— Нет. Ты ушел, а мы с отцом остались в селе.

— Так что же все-таки?..

— То, что мы хотим жить в мире с людьми.

— Вот тебе на! Чего только не услышишь! — Я разозлился.

— Замолчи! Совершил проступок, так сказал бы нам. Пока живы, попытались бы как-нибудь загладить... Разве это по-человечески — сбежать? Так поступает нынешняя молодежь?

А ведь она сильно изменилась, заметил я. Голова стала седеть давно, теперь же виски сплошь белые и кожа на щеках примялась...

— «Нынешняя молодежь»... И будущей не расхлебать, столько вы всего натворили, — тихо сказал я.

— Кровь, которую пролил, останется и на твоих внуках. Мы обязаны ее оплатить.

— Алхас потребовал? Заплатите за ногу! Так и сказал?

— Как ты разговариваешь?! Далекое тебе до Алхаса... Он-то простил.

— Откуда вы с отцом знаете?

— Да что мы! Все село знает, — мать, когда-то ласкавшая меня и плакавшая вместе со

мною, если я, бегая по двору, ушибусь, «тянулась к ружью». Она теряла терпение. — Ты покалечил человека, а мы сидим сложа руки, словно знать ничего не знаем! Твой отец как услышал, сна лишился. Приходил Мирон, говорил с ним... Если хотите, чтобы сын вернулся, пойдите на мировую. Отец объяснит, как себя вести.

— Я уже говорил с Алхасом.

— Этого мало! При всех попросишь прощения. Некоторые думают, что мы отказались от Адицы из-за ее опозоренной матери...

— Это неправда?

— Правда, неправда... Зачем ты хотел погубить Маджгану? Что о тебе говорят? Адица его бросила, а он из мести сподличал! Вот какая она, твоя правда. Надо изменить о себе мнение людей. Пусть и твои друзья придут в субботу. И пусть почернеют лица наших врагов!

— Не надо проклятий. Могут и тебя коснуться.

Все мы знаем, как обращаться с теми, кто причинил

зло. А если это мать? Рубит сук, на котором сидишь... Тяжело мне стало, и я не убрал руку, когда она погладила.

— Как ты живешь здесь?

Я пожал плечами:

— Живу...

— Говорили, на свадьбе пел, танцевал... — сказала мать, давая понять, что ей все известно. Конечно, и то, с кем танцевал. — Мирон умница. Как хорошо убедил отца! Все на себя взял, все организовал, — продолжала она. — Для него тоже приготовили подарок.

— А Алхасу что вы дадите?

— Коня. Вместе с седлом. Такого нет и в районе, не то что в Апсаре.

У древесного листка одно желание — тихо висеть на родной ветке. Но если день его неспокоен, дождь, ветер — то неспокойна и ночь.

Чего только я не передумал до субботы!

Я оделся во все самое лучшее. Шляпу на голову. Не считая Арутана, который тоже ходил в шляпе, перед тем как посадили, из апсарцев один я такой щеголь.

Уже говорил, когда «гости» на заводе, вино покупаем у местного грека. Разорвал письмо, адресованное Мирону, которое так и не отправил, и пошел к этому греку. Знал, что у него имеются саженцы. Разные сорта винограда, яблонь, мандаринов...

Пришел и сказал:

— У моего хорошего друга сын родился, хочу посадить яблоню в его честь.

— Ай, что может быть лучше абхазской яблони!

— Растет слишком долго.

— А вырастет — внукам твоим, правнукам достанется. Не стареет!

— Наше нам хвалишь?

— Человек не то что плохое не видит в себе, бывает, и хорошего не заметит.

— Это ты здорово сказал!

— Тогда подожди.

Старик принес саженец. Чтобы земля не осыпалась с корней, обернул мешковиной и перевязал веревкой.

— У вас, абхазцев, это хороший обычай. Сажать дерево, когда рождается ребенок. Бери, двухлеток. Видишь ту, что стоит в конце кукурузного поля? Яблоня осталась от махаджиров. Яблоко дает так много — ветки не выдерживают. Срезал одну ветку, высадил... Дай бог кушать на здоровье и твоим детям, и твоим внукам!

В автобусе попался сосед Мирона. Бойкий паренек лет шестнадцати. Сказал ему, что вот везу саженец Мирону в подарок. Пусть знают, какой я хороший друг. Не только о Мироне, о его сыне забочусь.

— Дай, Алиас, завтра отдам дяде Мирону!

— Сам отдам.

— Завтра у вас стол, тебе некогда будет. А я отнесу утром.

Подумал, подумал — и отдал.

(А зря это сделал! На второй день сосед Мирона, сопляк, еще и упрекнул: «Скажи правду, Алиас, ты знал и нарочно подсунул?» Я ничего не ответил.)

Заходившие к нам в пятницу вечером и в субботу говорили мне: «Вот уж действительно — гость!» Одна соседка принесла петуха, покрутила им вокруг моей головы (чтоб все болезни унес) и отпустила. Петух, прыгая, хлопая крыльями, ошалело кинулся прочь.

— Будь прокляты, кто оставил тебя сиротой! — сказала мать, увидев во дворе Мацкую с вязанкой хвороста. — Спасибо, милая, что принесла.

И бережно забрала вязанку — будто подарок. Взяла за руку Мацкую:

— Пойдем к женщинам, они щиплют кур! — и увела.

Мне вспомнился полковник юстиции, похожий на брата Мацкуи. Сказать бы горемыке: «Я отомстил за твоих братьев. Фриц за все теперь ответит!» Стал бы похож на того, кто,

как на панихиде, заплакал на свадьбе. Чокнутый был тут как тут, дразнил и веселил народ. Скажи он во всеуслышание, что признает себя истинным апсарцем, как все они, и что он в здравом уме, посчитали бы оскорблением: привыкли к роли, которую играл. Словно самой природой ему назначена! Попробуй откажись, надень другую маску и сыграй другую роль!

Чокнутый распинался:

— Говорят, Алиас вылавливает хороших людей и сажает в тюрьмы. Чего добиваешься, чего хочешь от них? Слыхали, что сделал? Посадил одного делового мужика с завода. Сперва натравил на него собаку, потом провокацию устроил, чтобы выбили зубы... Да вы поглядите, нет у него передних зубов! Из-за этих зубов человека упекли, а когда стали выяснять подноготную, то и Черного Ворона вытащили за шкуру!..

— Заткнись, осел! — сказал Гудиса.

— Ты, Гудиса, лучше позавидуй мне. Мне одному! Господь с любовью меня сотворил! — Чокнутый оторвал от рукава полушубка болтавшийся лоскуток и высоко вскинул голову. — Тебя считают мудрецом. Поэтому мелешь ерунду. А назвали б дураком — говорил бы правду. Я сказал, что забрали Черного Ворона, и ты обозвал меня ослом. Хорошо, я осел. А ты будь мерином, жеребцом, кобылой... Посмотрите из интереса, сядет ли на осла какой-нибудь клещ? Осел сразу же сбросит, по земле станет кататься — раздавит! А лошади и в уши, и в глаза лезут мухи... Эх, дорогие мои апсарцы. Кому дан язык, у того уши заложены. Кто умен — у того кляп во рту. Все шиворот-навыворот! Берите пример с меня, не бойтесь поумнеть. В старину был один мудрец...

— Наверно, вроде тебя, — подсказал кто-то.

— Именно! С самим создателем спорил. И люди отвернулись от бога, стали слушать мудреца. И что же? Возьмем хоть нашего председателя, понравится ему, если скажут: в колхозе есть поумней тебя? С потрохами сожрет этого умника. И меня бы проглотил. Да я — чокнутый! С меня спросу нет. Ладно, пойдем дальше... «Сила на твоей стороне, — сказал господь мудрецу. — Но завтра в полдень набегут тучи и польет дождь. На кого капля упадет, тот ополоумеет. А предупредишь неразумные чада мои — навек онемеешь!» Что делать? Верно, наплыли черные тучи, вот-вот ливень... Сказать людям — до гроба ходить немым. Самому вымокнуть — ума лишиться. Забился в какую-то пещеру, ждет, что будет. Кончился дождь, очистилось небо, мудрец вылез наружу. Язык на месте, голова варит. Да что толку! Народ-то дурак на дураке, что ни скажи — не так понимает. Вроде вас, апсарцев.

Слушавшие апсарцы ухмылялись. Я — тоже.

— Что же получилось, в конце концов? — обращаясь ко всем, спросил Чокнутый. — Взяли и назвали чокнутым того мудреца! Как меня.

— Хайт, если умру раньше срока, то из-за этого человека! — вздохнул Гудиса. А я подумал, что, если б Чокнутый знал про нас с Адицей, про мои тетради, где ни с кем не играл в прятки, он бы все выложил открыто. Лишь посмеялись бы и простили, как всегда.

— Ну, вы тут поболтайте, может, еще чего умного найдете, а у меня мамалыга подгорает, — сказал один из апсарцев, крепкий такой мужчина. И добавил: — Как бы высоко ни залетели, все равно живете моим котлом! Пойду.

— Он победил меня! — сокрушенно воскликнул Чокнутый.

Все так и покатались со смеху.

Еще и тем Апсара не похожа на заводской поселок, что по-разному смеются тут и там. По любому поводу хохочут апсарцы. И с таким добродушным азартом, что, как сами утверждают, мертвый рассмеется. Удивительный, странный народ! Со зла на них наговорил...

На том, кто украл, — один грех, на потерпевшем — сотня...

Ты их не знал, а они пришли, расположились во дворе, и по тому, как оделись празднично, скажет и хозяин, и любой прохожий: гости, которых ждут!

В понедельник (когда все уже миновало) мать стала разбирать подарки, и отец изрек с самым серьезным видом:

— Вот люди в Апсаре! Мы Алхаса калекой сделали, повинились, а он нас ценней одарил, чем мы его. Этот серебряный кинжал, старинный абхазский кинжал... Был бы когда-нибудь такой у моего сына?

Да, приятно было глядеть на собравшихся в нашем дворе, хотя повод, который их привел, не из самых веселых. Впереди стояли женщины, девушки. Мужчины позади. Старики в белых башлыках, в черкесках с газырями, блестящие начищенные сапоги — даром что март и грязь на дорогах.

Все говорило об уважении к моим отцу и матери. Особенно к отцу, не щадившему себя, по словам апсарцев, в любом деле: шел до конца. Не то что между мной и Алхасом, но и между нашими родителями развеялся холодок отчуждения. Ведь все мы — апсарцы. В дурном и в достоинствах своих.

— Мшибзиа, хозяин! Добрый день! — С алабашой [10] вперед выступил один из стариков. — Чтобы счастливой ногой мы вошли в ваш дом! Да будет благословенно братство тех, кто побратается в этот день! — И вонзил посох в землю, скрепляя приветствие.

— Добро пожаловать, чтобы мы радовались вместе с вами, — поклонился Гудиса и обратился к старику: — Брось, брось свою алабашу! Когда это ты, страшилище, ходил в горы? С каких пор сделался горцем? Возьми какую-нибудь палку! — Он зорко оглядел стоявших за спиной старика. — Лучше этого человека не нашли?

— Лучшие ушли к лучшим, Гудиса! — ответил старик. — Он тоже не лез за словом в карман.

— Хайт, чтоб и впредь так добро шутили, увидев друг друга! — Гудиса обнял старика, поцеловал. Мне он сказал: — Ты здесь, глупец? Поцелуй Алхаса. Потом извинись, когда сядем за хлеб-соль.

— Почему потом? — не согласился отец и строго взглянул на меня. — Потом и будет потом. А что сейчас сказать, он сам знает.

Строгий, тяжелый взгляд... Наверное, подумал я, таким же и Бадза напутствовал, вкладывая пистолет в его руку.

Сколько помню себя, Адица, лишь однажды я говорил свободно, раскованно, будто в лесу и никто не слышит меня. Это когда вызвали на очную ставку с Самсоном Григорьичем. Не только присутствовавшие, но и сам Фриц ужасно удивился.

Сейчас вышло не так споро и складно. Но сказал не меньше того, как наставлял отец, а даже от себя добавил.

— Не попутай его черти, человеком бы стал, — отвернувшись, пробормотал отец.

Гости и хозяева смешались. Послышались смех, шутки... Гудиса отвел меня в сторону.

— Ты был болен, когда повел тебя в горы. Ее, Адицу, вознес выше создателя! Опустит на землю, иначе бог не простит...

Я рассеянно кивал, слушая. И вдруг подумал: «Может, Мери отправилась за Адицей? Поэтому ее нет?»

Подошел сосед и бросил на кровоточащую ссадину щепотку соли:

— Где сын Апты? Сам все затеял и не явился! Как тот, кто построил дворец, а жить не стал.

Ох, и до чего ж неуютно мне сделалось! Да плохо попросту. Ты попадала в подобное положение? Хотел, чтоб открылась правда, из кожи лез... И вот когда она почти рядом с тобой, тебе страшно, ты не хочешь ее!

Сели за стол. Первое слово должен был произнести от нашей стороны самый уважаемый и старейший. Поднялся со стаканом, заговорил... Не буду целиком приводить его речь. А смысл таков. Взаимное непонимание грозит несчастьем. И тот умен, кто, поняв это, прощает глупцу. Наш мальчик поступил глупо. Но нашел в себе остатки разума, чести и достоинства и повинулся перед тобой, дад Алхас. И ты простил, будучи умным человеком. Так вот за то, что простил и не держишь зла, в знак вашего будущего братства Алиас преподносит тебе коня под седлом... Конечно, старик говорил дольше и красивее. А когда кончил, отец подошел к нему, поцеловал и положил на стол камчу.

— Живите оба долго! — закричали.

— В мире и дружбе!

Наступила очередь гостей, и с их стороны слово взял старший. Он обратился к моему отцу:

— Мы и до этого знали о твоей мудрости, дорогой Алцыку. Если бы он тебя послушался... Зачем нам имя того человека, пусть враги его произносят!

Согласились:

— Верно. Послушался бы Арутан — жив остался. Рано или поздно открылась бы его правота.

Никто почему-то не обратил внимания на последние слова, а старший со стороны гостей продолжал:

— Но нынешний твой поступок, дорогой Алцыку, свидетельствует о дальновидной мудрости. Ты остановил и пресек начавшуюся было вражду между твоим домом и домом Алхаса. Предложил мир, дружбу и братство, потому что смотришь далеко вперед. Вы, конечно, знаете, что сегодня случилось...

— Что такое? — испугалась мать.

— Апта давно умер, а его сын Мирон, очень хороший человек, не может быть среди нас.

— Да что случилось, господи?

— Разве не знаете? Мирон свалил старое дерево в саду. Трактором. Говорит, хотел подарок сделать Алнасу, посадить яблоньку... Хайт, лучше бы он выкопал кости своего отца!

— Дурное говоришь, бога побойся!

— Да, было бы лучше, чем то, что обнаружилось. Под корнями нашли кувшин, а там сверток. И что ж вы думаете? Деньги! Довоенные, уже никуда не годны. Ровно та сумма, которая пропала из кассы...

— А Аруган сидел из-за нее!

Люди переглядывались и потрясенно отводили глаза. За столом надолго смолк говор.

— Я думал спасти сына, — проговорил отец. Он был совершенно убит известием. — Мне теперь одно — заколоть барашка на могиле Аругана, встать на колени...

— Ты ни в чем не виноват.

Отец покачал головой:

— О моей вине никто не знает больше меня...

— Этот Апта... Дьявола сделали ангелом!

— Я же говорил, что у вас мозги набекрень! Благодарю тебя, господи, что создал меня непохожим на этих людей! — Чокнутый хохотнул, опорожнил стакан и с усердием принялся за еду.

Меня зло взяло: эти вечные его насмешливость, шутовство! Сейчас не к месту и не ко времени. Но он знать ничего не желает — так сжился с ролью клоуна...

Я выбрался из-за стола.

Пританцовывая, навстречу по двору шла Мацкуя.

— Спели бы, похлопали б в ладошки! — Сбросила на плечи платок, закружилась. —

Алиас, видишь, сваты пришли за мной... Ха-ха-ха! А я знала, братья сыграют мне свадьбу!

Одна из женщин попыталась ее увести. Мацкуя мягко отстранила.

— Что я плохого сказала? Почему не даете покоя?..

У ворот меня остановил соседский мальчик и сказал, что какие-то люди ждут в машине.

— Она за рулем, а он рядом сидит...

Я узнал «Победу». «Почему не вышла? — подумал я, обеспокоившись. — И тут что-то стряслось?» Нет, она улыбалась, Мери. Призывно махала рукой.

— Садись! — пригласила она и открыла заднюю дверцу.

Я поздоровался с мужем Мери и спросил, не слышала ли о случившемся:

— Отец Мирона, оказывается...

— Оставь, знаю. Нет времени говорить о мертвецах!

— Мери...

— Скажи еще, счастье, мол, делает человека глупым и черствым. Пожалуйста! Соглашусь.

— Ведь это я подтолкнул Мирона...

— Все село об этом знает. Твой отец входит в совет старейшин?

— Уже нет. С тех пор как убили Арутана.

— Ну да все равно. Мирон собирается уходить из села. Надо, чтоб старики с ним поговорили.

— Кто поджег, тому и тушить, — сказал я.

— Без тебя обойдутся. Думаешь, если б не ты, преступление Апты осталось бы тайной? Я за другим тебя позвала. — Мери пристально посмотрела мне в глаза. — Нет, он ничегошеньки не знает!.. Несчастный Шерлок Холмс. Слушай, сожги все, что написал!

— Да не мучь ты его! — не выдержал муж Мери. Он не был из Апсары, но, женившись, переехал в село и во всем стал походить на апсарцев. — Если ты друг этой ветреной женщины, то и я тебе друг. Дело в том...

— Молчи! Хочешь отнять у меня подарок за добрую весть? Столько вложила сил!.. Алиас, где, по-твоему, сейчас Адица? Думаешь, с Маджганой?

— За другого вышла?

— Именно этого ты заслуживаешь! Они разошлись.

— Черная кошка им перебежала дорогу. Кошка, которая сидят рядом со мной, —

засмеялся муж Мери.

— Разошлись тихо, мирно, без ссор. Забрала вещи и вернулась к отцу.

— Мы ее отвезли.

— Ты слышишь? Оглох, несчастный! Как в тот раз... Что тебе делать, мой муж объяснит. Мне надо домой, дети одни. И поскорей возвращайтесь, Мирона нельзя одного оставлять...

[1] Обращение старшего к младшим.

[2] Свод нравственных правил.

[3] Абхазское выражение, означающее состояние полного благополучия.

[4] Собачье божество (мифолог.).

[5] Летняя кухня.

[6] Героиня нартского эпоса. Идеал женской красоты.

[7] Мифологический герой.

[8] Сорт винограда.

[9] Временная кухня.

[10] Пастушеский посох.

Перевод с абхазского Гелия Ковалевича

(Печатается по изданию: Д. Ахуба. Кто бросит камень... Роман, повесть. - Москва: Советский писатель, 1991. С. 3-162.)

(OCR — Абхазская интернет-библиотека, <http://apsnyteka.org/>.)